

# АНДРЕЙ АНТИШИН

СИБИРИАДА

A painting of a Siberian village scene. In the foreground, a river flows, with a wooden fence or bridge structure crossing it. The middle ground shows several wooden houses with steeply pitched roofs, surrounded by trees. The background features a forest of tall evergreen trees under a cloudy sky. The overall style is impressionistic with visible brushstrokes.

ЖИТЕЙНАЯ  
ИСТОРИЯ

Сибиряда

Андрей Антипин

**Житейная история. Колымеевы**

«ВЕЧЕ»

2024

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Антипин А. А.**

Житейная история. Колымеевы / А. А. Антипин — «ВЕЧЕ»,  
2024 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4484-4850-8

Роман русского сибирского писателя лауреата литературной премии имени В.Г. Распутина Андрея Антипина посвящён людям старшего поколения. В основе книги лежит судьба супругов Колымеевых, их отношения между собой и с соседями, их потаённые, то грустные, то светлые думы о жизни и тризне. Три части романа — «Отсрочка», «Заделье», «Исход» — достаточно самостоятельны, но, сведённые в сюжетную нить, отслеживают и запечатлевают важнейшие вехи в человеческой судьбе — от мучительного счастья пребывания на этом свете до вдохновенной радости скорого ухода. Также в издание включены рассказ «У самого синего моря...», сборник миниатюр и эссе о современной литературе.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4484-4850-8

© Антипин А. А., 2024  
© ВЕЧЕ, 2024

## Содержание

Житейная история	6
Вступление	6
Отсрочка.	7
Заделье.	49
Конец ознакомительного фрагмента.	73

**Андрей Антипин**  
**Житейная история. Колымеевы**

© Антипин А. А., 2024

© ООО «Издательство „Вече“», 2024

# Житейная история

## Вступление

Тракт нарождался вдалеке, за стеклянным, ветрами резанным горизонтом, и живой аортой тянулся через сердце Округа.

Похожий на след громадного, бог весть кем запущенного и за какие пределы устремлённого колеса, Он долго бежал по жёлтой степи, захлёстывающей за белки и теряющей очертания.

Он верил в себя и в обкусанные саранчой будылинки, накрепко к земле дующим на запад ветром.

Он был горд своим предназначением – покорить степь! – когда держался строгой линии, ни одним неосторожным коленцем не позволяя себе вильнуть, уйти от намеченного полынью пути.

Он знал себе цену, не признавая ценности других.

Он смеялся над тем, что другие тракты обречены на безысходность, ибо сам Он никогда не должен был иссякнуть.

По дороге встречались вросшие в землю окошкми деревеньки с собаками на поленницах, реке – маленькие города. Сквозь иные Он проходил как старик-шарманщик, наполняя старинные улочки печальной музыкой мчащихся в ночь автомобилей. В другие врывался, как завоеватель, как бунтарь и убийца. В третьих селениях задерживался, обрастал закусочными и ночлежками. Но всё равно бежал и бежал – без оглядки, без мысли об обречённости принятого Им рывка, оставаясь самим собой.

Однажды за горой, развороченной тротилом, встретился Посёлок, один из тех, что примелькались за сотни сотен километров. Он ворвался в него, одержимый чувством собственной силы, красоты и удали, как врывался во многие другие. Он не держал сердца на него, пересёкшего Ему путь среди степного раздолья. Но вот и время, отведённое таким посёлкам, чтобы быть на Его пути, отстучало своё, и Тракт внезапно для себя упёрся в похожую на рыбий кулан Дорогу. К Дороге примыкала мелкота домишек. Белела известью больница в несколько корпусов, убранных общим заплотом. За больницей лепились почта и библиотека; лязгало железо на машинном дворе; запахи ржаного, жжённого на квас хлеба отпахивала вместе с дверью булочная; особился домик метеостанции с голубыми ставнями... А в центре возвышалась трёхэтажная, красным кирпичом выложенная школа, к которой со всех концов тянулся Посёлок.

В этом месте Тракт умирал.

Нет, срывая ошейники заборов, Он ещё бежал дальше в степь, встречал на своём пути мелюзгу городишек и деревень, но все понимали – и Он лучше других, – что это уже не Он, а иной Тракт.

Но Он всё помнил.

## Отсрочка. Повесть первая

### 1

Старик Колымеев возвращался домой с того света. С недавней поры установилось недружелюбное майское тепло и в считанные дни оборвало с затенённых крыш последнее шипучее серебро, нежным суховеем свалило в кучи у заборов подсохшую прошлогоднюю листву и длинные, в колючий шар скатавшиеся травяные стебли. Но вот с ночи напоздло мороза. Часам к восьми утра, когда Палыч стоял у двери в процедурную, в коридорное окно ударились первые дождинки. Однако большого дождя не вышло. Шёл обычный майский дождик. Неуверенный и робкий, он чуть налил дорожные ямки, как уже отплясал в большой эмалированной кастрюле, поставленной под жёлоб больничного крыльца. В золотистой от глянувшего солнца мокроте воспрянули запахи земли и наворачивающейся зелени, перебиваемые тяжёлым духом контейнеров с мусором в глубине двора. И жизнью ещё прошибало – острее нашатыря. И запах этот истреблял всё: и бензинный выхлоп с дороги, и аромат наивного дурнотравья, и зловонье мусорных баков, не выгребавшихся с того дня, как рассёкся в дорожной аварии главный врач больницы Виктор Бажеевич Мадасов. Место главного до сего пустовало, но Колымеева нынче это мало беспокоило. И когда он с нехитрыми манатками выперся на крыльцо, то скорее облапил стену, чтобы не скопиться от разящей свежести...

Больница осталась позади, и Палыч переложил котомку из усталой руки в другую.

– Ёкко санай! – обронил незлобное ругательство, давным-давно привезённое в Сибирь с матерью-чухонкой. Мать умерла после войны, а присказка жила. Что она таила, старик не знал, понимая под нерусскими словами душевную недомогу...

Без обычной в таких случаях радости брёл Колымеев – как с прогулки шёл. Откуда было взяться веселью? Два раза белые халаты уносили в ночь, оба раза вертали к жизни, но так, словно отпускали под подписку о невыезде. Третьего числа копнулось под сердцем, и наученная старуха кликнула «неотложку». Весь апрель Палыч провалялся в стационаре под капельницей, всеми думками настроился к скорой пропасти. Дела его были неважнецкие, хоть утешали халаты да врала старуха, что хорошие, но Палыч и сам кумекал: худо. «Надорвались мои паруса...» – однажды заплакал среди ночи, когда чухнул, что умирает и отсрочке не бывать. Жизнь старик понимал как переменный ветер: сегодня дует, а завтра нет. Проснувшись как-то под утро, он скорей почувствовал, чем разглядел, как надувается синей опухолью. День ото дня выше и выше, врачебным загородкам вопреки, разливалась от ног смертельная волна. На пятый ноги отекали до колен, старуха принесла с базара обувь на три размера больше; кожа на ногах напряглась, задубела, и Палыч не спал ночей. В довесок, чтоб уж совсем раздавить его, разыграла мужская болезнь, и навесили катетер. «Как... не знаю... со шланчиком-то?!» – взмолился старик. Совсем невольно стало, белый туман, как белый халат, застил взгляд, а в груди, то замирая, то пускаясь в галоп, достукивал незримым копытом красный конь его жизни...

Одним из первых на пути старика к дому стоял синий двухэтажный флигелёк почты. Он ещё издали призывно замаячил ярким жёлтым транспарантом, растянутым от окошка до тополя через дорогу. Транспарант принадлежал фотосалону «Улыбка», что разместился в верхнем этаже, окнами на улицу. Тяжёлую ткань колебал ветер, встретив на своём весёлом воздушном ходу заграждение. Стальной трос захлестнул ствол тополя, принуждённого к усиленному развитию капитала, и уже успел, въелся в пухлую по-весеннему кору. Старик сощурил глаза на громкую надпись: «Улыбайтесь чаще!» Мысля ещё по-больничному, Палыч хотел

плюнуть, прочитав это воззвание, но пошуршал выпиской в кармане и, действительно, улыбнулся... Приветно раскинулся в шляпках деревянных грибков песочниц детский сад. Но пусто и безлюдно было в дворике. Одинокая ворона снялась с качели с появлением человека, также нахохленного и до недавнего времени изгоняемого жизнью, и захрипела простуженным карком.

– Видишь, родню нашла, пакость! – не испугавшись тишины во дворе, возмутился Колымеев, но вспомнил, как ещё недавно сама смерть летала над ним чёрной вороной, и успокоился. – Я да смерть – две вороны, – обеим жизнь даёт нагоняя! Но всё ж таки я поменьше всех буду: меня и смерть задирает, а жизнь бежит.

На зелёных воротах висело объявление о капитальном ремонте, оно окончательно ободрило Палыча: стало быть, везде ремонт, и материал из строя выходит, а не он один.

На всякое встречное учреждение старик глядел как внове, будто никогда не наблюдал их в своей жизни. Но когда за рощицей тополей и берёз замелькала старая двухэтажная школа, сердце вспухло затаённым нарывом – щепотка детворы по сбитой прошлогодней траве гоняла наполовину сдутый футбольный мяч. Колымеев для большей надежды ухватился руками за штакетник. Ребячьи крики тревожили ему сердце, как прощальная песня лебедей, и долго слушать её он не мог. Брёл, приваливаясь на правый бок, дальше – по тракту...

– А дети-то? – вслух бормотал и корил кого-то: – Почему ж детьми-то попрекнул?! – Тот, другой, видимо, возражал, и старик яростно спорил: – А Гутя?! Нет, Гутю взять? Хорошая женщина! Любящая. То-другое...

За пекарней дважды окликнули. Палыч услышал и первый окрик, но суеверно не обернулся. Суеверие, считал, нажил в больнице – раньше он таким не был.

– Володька! Колымеев!

Чebун – бузотёрный, хватистый старик с крупным красным носом – торопко катил впереди себя тележку с флягой, уверенно и крепко ставил на землю ноги. «Здоровый ещё сосед!» – они жили с Чебуновыми через дорогу.

– А я смотрю: Володька Колымеев идёт! Кричу-кричу, а он и ухом не пошевелит...

Он поставил тележку, красные от ледяной воды большие руки положил на поручни с надетыми вместо ручек кусками резинового шланга.

– Здорово! Выписали, значит?

Палыч разжал занемевшие сухие пальцы – но Чebун руки, по своему обыкновению, не подал.

– Та-а... – неопределённо повёл в сторону занесённой рукой Колымеев, а Чebун прихоронил в себе твёрдую мысль.

Пытливо, сквозь тяжёлые веки рассматривал Колымеева, словно в тощей, болезнью обсоханной фигуре вынюхивал единственно крепкую помочь, которая не давала рухнуть шаткой городьбе.

– Так, говоришь, спровадили домой? – Чebун знал определённо, что – спровадили. Допытывался: – А что сказали-то? Может, умирать спихнули! Чё ты... как этот! Надо было разузнать всё по порядку...

– За отсрочкой иду, – кротко ответил Палыч и прикинул: сам он такую флягу с колонки не допёр бы уже. – Отсрочку же дали в честь Первомай!

Вместе посмеялись: беззвучно – как рыба – Палыч и громко, напрягая до самого горла выскобленное бритвой лицо, – Чebун.

– Давай кошёлку-то! Повешу на поручень – всё легче будет! А то... светишься весь, как бритвочка. Не кормят в больнице-то?!

– На три блюда дают!

– На три... блюда! На три, говоришь?! – Чebун утёр рукавом влажные от смеха глаза. – Вешай да пойдём... Ты домой ведь?

– Мне тут зайти надо в одно место. Просили после выписки показаться... в аптеке... – неожиданно соврал Колымеев и заилёнными болезнью глазами посмотрел на Чебуна, мучительно соображая, зачем бы ему нужно в аптеку.

– Лекарства, что ли, какие выпишут?

– Однако так.

– Ну, давай тогда кошёлку – довезу! – Чебун не поверил про аптеку, но великодушно смолчал о своей догадке. – Старуху напугаю! Скажу, вещи Володькины забрал – мол, врачница велела, – ехай теперь за самим Володькой, он уже у подъезда лежит, приготовленный...

Палыч аж задохнулся от возмущения, ворохнул красную шерстяную кепку, обнажив перерастающий в лысину высокий лоб и клоч сухих реденьких волос, свалившихся от долгого лежания в больнице.

– Иди свою напугай! Чё ты привязался с этой кошёлкой?! Сам донесу, не надорвусь! Думаешь, совсем немощным стал Колымеев?!

– Никто не думает! Чё ты, взбеленился-то? Давай, мол, помогу – всего и делов... Аж зашёлся весь, чудак!

Чебун с силой толкнул тележку.

– Баню завтра буду топить, приходите с Паловной...

## 2

С утра Августина Павловна чувствовала себя как раздавленная улитка. Одеревенелая в мускулах спина не ощущала грубых плах, настеленных поверх панцирной сетки (старуха так и не привыкла к сетке: «Ляжешь, как в пропасть ухнешь!»). Едва шевельнулась, как по всем жилам, точно ртуть в термометре, разошлась невыветренная усталость, кажется, таившаяся всю короткую ночь в специальном отстойнике. Ответно завывли руки. Старуха с отчуждением, словно не признавая, смотрела на них, не по чину взгромоздившихся на белый пододеяльник, – разбитые, с обломанными ногтями, по заусенцам и морщинам забитые чёрной угольной сажей...

Одно радовало: давление, разыгравшееся с вечера, больше не скакало и голова не валилась с плеч. Сказалась польза капустных листов, которые извлекла из подвала, где они хранились, обваленные в крупной соли и придавленные в бачке тяжёлым камнем, и приложила к больной голове, да так и уснула с ними. Проснулась до света, но не поднималась. Лежала, с первых минут наступившая неумолчными заботами; уже утомлённая ими, в наивной простоте старалась не дать тревожным думам ходу. Но как это возможно, чтобы живой человек был свободен от мысли?

О старике боялась даже помянуть в своих одиноких бдениях, но по всему выходило, что воротись – не воротись от беды, а к одному идёт дело.

– Однако помрёшь, Колымеев! – Хриловатый со сна голос глухо отозвался в пустой квартире, и старуха обмерла: а что если и правда – умер?

Старуха соскочила с кровати, босиком добежала до двери и пинком распахнула её в зал, чтобы услышать, если постучат или затрещит в прихожей телефон. В комнату шмыгнула бусая кошка с невысосанными сосками. Не обнаружив котят, просительно потёрлась о старухины ноги, заглядывая хозяйке в лицо. Старуха не выдержала зелёных укорительных глаз (вчера за стайкой в ведре с водой утопила она котят – Маруська через весь огород шла следом), пихнула кошку ногой:

– Змея! Повадсья ишо таскать, дак я тебе задам шухеру!

Выпроводив кошку, старуха дозналась у самой себя, что ночью, кажется, звонил телефон. Можно было брякнуть в кардиологическое отделение и справиться о старике, но старуха боялась. Пока Колымеев на больничной койке, каждый стук в дверь, каждый телефонный зво-

нок нагоняет на неё ужас. Чудится: открой дверь, подними трубку, какпустишь в дом глашатай печальной вести. Она даже на улице не показывалась без особой надобности, второй день лежали газеты в почтовом ящике – за почтой идти через дорогу...

Сквозь плотные занавески щерился рассвет. Сияние его было ещё жидким, не набравшим силу. Под окном будто горел костёр из сырой талины, и сизый дым накатывал к стёклам. Как головы призрачных существ, глядевших с улицы в дом, стояли на подоконнике горшки с длинными усами рассады. Небо с вечера заволокло тучами. Но дождь не шёл. Только рассветный дым становился белее. И настойчивее: вот он уже высветил часть комнаты, ту, что ближе к окну. Как из небытия, выплыла старая, жёлтого дерева горка, а за ней лакированный колпак швейной машинки... Старуха стала гадать, сколько машинке лет: «Хозеиха когда переехала в Улан-Удэ? В тот год и брала...» Установив возраст машинки, Августина Павловна осеклась: в шестьдесят девятом умер Карнаков, в семьдесят втором – средний братишка Ванечка, в семьдесят третьем... Первые искры солнца упали на пол, осветив даже дальние углы комнаты, и старуха вздохнула. В окне домика-будильника, стоявшего на столе, часовая стрелка целила в цифру пять.

Дремалось или нет старухе, только явственно обозначилось, как уже мёртвый лежит старик посреди избы в зловеще-красном гробу, поставленном на табуретки. Старуха, вся в чёрном, сидит у изголовья и молчит: все слёзы давно сказаны. Скрестил ноги в кресле татарин Тамир. Иногда он встаёт и на цыпочках идёт на улицу курить. Скорбны старухи, кивают в согласие смерти. По лавкам да табуреткам вдоль стен – соседи с ближнего околотка... Особнячком, положив руки на колени, косая Саня. Деловито поглядывает на часы директор гипсового рудника, молодой бурят, краем уха наслышанный, что умерший старик когда-то работал на карьере. Маруська ловит когтистой лапой чёрные ленточки приставленных к стене траурных венков... Ближе вынос, изба полна народу. Старик Чебун громко шепчется с мужиками, и вот они – Мадеев Колька, Тамир, сам Чебун да его сын Борька – уходят. Пошли набросать в кузов бортовухи пихтовый лапник. Тут открывается дверь: незнакомая старуха в чёрном платке. Ни слова. Садится против Августины, через гроб, в головах. «Люба – ты? – спрашивает Августина. – Из Бохана которая, Вены Карнакова сестра родная?» Пришедшая – молчок, а сердце Августины вспухает обидой. «Либо из Джаваршанов кто? Трюродна сестра Колымеева?» И на это ни слова незнакомка, а пуще того – упала головой на гроб и плакать не плачет, и причитать не причитает. «Да кто ты хоть – скажи! – восклицает Августина. – А то пришла и сидит, а чё сидит?! Коль знакома, дак так и говори, а то... как-то...» – «Очень он меня любил – Владимир Павлович! – отлипла от гроба незнакомая старуха. – И я его... всю жизнь...» Августина, не веря своим ушам, смотрит на старуху полоумно, потом переводит взор на мёртвого старика, задрав белый нос лежащего в гробу. «А ну-ка. – Августина вздымается грозовой тучей. – Проваливай! Вот Бог, а вот порог. А то щас как швырну с крыльца – белого света не взвидишь!» Слёзы в горле, но и злость тоже. «Нашкандырка чёртова! У людей горе, а она пришла! Да как тебе не стыдно?!» Старуху обступают кружком другие старухи. «А-а, забирай его к чёртовой матери! Прямо с гробом бери! Не жа-алко! – И глухо рыдает: – Всю жизнь прожили, а она, вишь, пришла, се-ела! Думаешь, не знаю, кто ты?! Всю душу ты Колымееву изъела...» Заходит Чебун и громко сообщает, что всё готово. «Подняли, подняли!» – говорит Чебун, и вот уже гроб со стариком медленно покачивается в руках мужиков, словно в клешнях огромного ската. Кто-то подхватывает Августину под локти и ведёт из избы, и половицы плывут, качаются у неё перед глазами, а старуха в чёрном платке выскакивает в сенцы наперёд и уже там, на ветру, рассеивается дымом и пеплом...

«О Господи! Спаси и сохрани! – Старуха очнулась. – Надо нонче на родительский день съездить в Нукуты, который год оградки не крашены... Да и то – вскарабкайся в гору-то!»

Опустив на пол ноги, долго искала тапочки; это её разозлило:

– Да что ты, ети вашу мать! Сука старая! Как рюмочки на столе, дак она видит, а как топалки, дак...

Умываясь над раковиной, отряхнулась от страшного видения, и все мысли её, принадлежавшие старику, обратились к угольной куче.

Дом, в котором жили Колымеевы, из четырёх квартир. На две клетушки – одна ограда и общий угольник. С Мадеевыми и Акиньшиными – соседями через забор – жили в ладу, а от молодых Упоровых не знали спасу. Упоровы въехали на один двор с Колымеевыми и сразу же навесили на угольник замок, которого на нём сроду не было. Уж старуха раз-другой пристыдила нахальную семейку, оставляя надежду на лучший исход, но у крепкозადой Тамарки от этих ссор только краснело в нервическом припадке лицо, а старуха, всякий раз уничтоженная, валялась на диване. Старик в перепалки не лез, мирно вёл себя в общей ограде, дружелюбно беседуя с опальным Алдаром. Только благодаря куриному нраву старика между старухой и Упоровыми на короткое время наступал мир. К таковому, впрочем, Августина Павловна не стремилась, как не признавала миротворческой роли Колымеева. После того как старик попал в больницу и по посёлку гремучей змеей зашуршала молва о его скорой отставке с этого света, бурят купил грузовую машину и определил мёртвым капиталом, занявшим добрую половину ограды. Осенью вышла незадача с углём, до снега держали посёлок впрохолодь. Нынче ещё ранней весной старуха сползала в контору коммунального хозяйства. И вот три дня назад привезли уголь. Экскаваторщик потыкался рядом с грузовухой да, обогнув ограду, свалил ковш за стайкой, под горой. Оставив старика на попечение врачам и Богу, старуха наутро не пошла в стационар. Вёдрами, как прокажённая, стала носить уголь в ограду, поминая старика недобрый словом. Колымеев, по её мысли, был виноват перед ней вдвойне: тем, что надумал умирать, когда уголь валяется беспризорно, и тем, что каждую минуту отнимает у неё время и силы думами о себе...

Поскору вытерев полотенцем посвежевшее лицо, старуха зубы чистить не стала. Хотела выпить кружку чаю, но в отместку за долгое лежание на кровати отказала себе и в этом. Сдёрнув с надпечной верёвки штормовку в белых пятнах пота и обув резиновые сапоги на суконном чулке, пошла в кладовку за лопатой и верхонками.

Моргая слезящимися глазами, точно ей сыпанули в них пригоршню соли, застыла на крыльце, поражённая светом низкого майского неба. Справившись с ослепью, увидела у ворот, рядом с собачьей будкой, кирпич белого хлеба. Цепной упоровский кобель огромной лапой мяркал булку в своих зловонных кучах.

– У-у, змеи! – Старуха затряслась, тело её вытянулось в нервную струну. – Креста у вас на груди нету! Бросить хлеб в говно-о?!

Подвернувшимся камнем Августина Павловна швырнула в дворового. Бренча цепью, пёс уполз в будку, оскалил потёкшие обильной слюной клыки.

### 3

После разговора с Чебуном жалел Палыч, что ни с того ни с сего накричал на соседа, когда тот только предложил помощь: «Надо быть добрее, а то правда, как мегера... Был ли, был ли ты раньше таким, Владимир Павлович?!»

С женой Чебуна вышло погано. Та померла много лет назад, ещё годной женщиной. Осенью, в сушь бабьего лета, у соседей загорелись стайки, пошло клохтать драньё. Огонь кинулся на чебуновский забор, а там к постройкам. Заблеяли овцы, в белый сугроб сбились гогочущие гуси, свиньи заскреблись рылами в пол. Только Буян – здоровенный бычара – не растерялся, саданул башкой дверь и убежал в степь – после пожара манил его Чебун хлебной коркой. А тогда, увидев за окошком зарево, Чебуниха схватила детей, увела к дальним соседям. Сама прытью обратно, где Чебун ломал забор, освобождая подъезд для пожарной машины.

Народ, крики, мельтешня передаваемых вёдер, синяя сирена. Чебуниха зевнула, встала под струю ледяной воды, а уже к утру захрипела. Как береста на огне пыхнула и в неделю сгорела... «Тоже жизнь прожил Серьга! – сокрушался Колымеев, переживая склоку. – Понимать надо: хоть и разные дорожки, а не одни сапоги износишь, пока ковьялешь... Однако он в кирзе по жизни, а я босиком наяриваю! Вот и испаркалась моя душенька...»

У магазина присел отдохнуть на крыльце, обогретом солнышком. До открытия годить полчаса, и старик без дела шурился по сторонам. Больше половины пути одолел, а дыхание едва зашло...

Старухи, с рассвета занявшие перильца банками с творогом, молоком и желтоватым свиным жиром, клевали из сухих ладошек подсолненные семечки. Шептались:

– Это Гути Карнаковой старик!

– Здрасьте, Карнаковой! «Колымеевой» надо говорить.

– Так оне расписанные разве?

– Нет, по-моему, так живут...

– Бедный, сдал как! Ну да ишо ничё, говорили – помрёт...

– Умирать спихнули, по всему...

– Видно, что так...

– Гутю жалко, мы с ней в ФЗО учились. Всю жизнь хоронит и хоронит бабонька. Недавно увидела её на улице: она не она? Так кое-как узнала! «Гутя – ты?!» – говорю. Заплакала...

– Через вот таких вот наше здоровье в гроб и уходит! – злым громким голосом сказала одна старуха, обмотав голову шерстяным платком. – Куда вот прётся, поганец?! Уж умирал бы, если жить не может! Так нет же, надо же несчастной старушонке все нервы измотать напоследок! У-у, алкаши ненапивные!

Со всех сторон на неё зашипели, и старуха заткнула маленький грубый рот.

Старик не обиделся панихиде по себе. Однако жалость окружающих стала привычной, а вот ненависть нахлестала по глазам. Он пошарил в карманах курево, чтоб хорошей затяжкой унять волнение, но ещё утром сунул последнюю листовуху мужикам...

\* \* \*

С первыми тёплыми деньками, когда Палычу можно было уже ходить, он выполз из постылого больничного корпуса на улицу. Деревянный посошок соседа, тихо умершего минувшей ночью, прислонил к стене и робко, словно собственную жизнь, оглядел большой двор. Широко, как крылья самолёта, расставив руки, чтоб ставшее чужим тело не кренилось, он таки одолел первый после долгого прозябания под капельницей путь по бетонной дорожке, плюхнулся на чурбан у забора. На лбу выдавился мелкий бисер. Старик смахнул с взопревшей головёнки кепку и приспособил на коленке. По дорожке полз большой коричневый муравей, тащил посильную клажу – длинную тоненькую соломинку, проступился и кувыркнулся назад, когда пришлось скрестись в горку. «На жёлоб, видно, удумал, соломинку-то, – рассудил старик. – Правильно, дожди скоро, волок давай, а то загрызёт старуха...» Муравей долго скрёбся в громадную для себя круть, но старик не пособлял ему – пусть нюхнёт горькой жизни. «Поди с муравьиного склада умыкнул, когда главный муравей за медалью в область поехал? Смотри, навалают тебе по первое число, а попрут по тридцать третье!» Муравей поупирался-поупирался, да выволок драгоценный трофей в гору, дальше поволок – в сухую крапиву, пока не растаял на фоне ноздреватой, лишь сверху оттаявшей земли...

«Что человек, что букашка! – определил старик и завернул газетную нарезку, соображая козью ножку. – Все жить хочат кого-то...»

Пряча махорочный огрызок в рукаве, он курил тайком от медсестёр и скупно сеял слезу на ввалившиеся в рот щёки. Кругом галилась, приплясывая, новая жизнь, гнала со своих улиц

всё отжившее, как зелёная трава прокалывает и выживает летошнюю. С дороги несло запахи бензина и пыли, а пуше – кваса: третьего дня угромоздили напротив квасную бочку.

Хлопнула железная дверь – врач Алганаев, с недавнего заправитель всего отделения, цивильно закурил сигаретку. Из каменного чёрного зева, едва Алганаев открыл дверь, дохнуло знобящим, мёртвым холодом и тем тошным настоем, что надурил от запаха лекарств, белизны и пота.

– Курите, Владимир Павлович? – пожурил Алганаев. – Ай-я-яй! А ведь сколько я вам говорю? И всё без пользы...

– Та-а... – Старик отмахнулся, безучастный к своей пропащей судьбе. – Тут всё, попятной не будет! Был, да вышел...

Желтокрыло билось меж землёй и небом солнышко, как малая птаха меж оконных стёкол, и Палыч считал, что уж теперь-то даст болячкам прикура, вертелся на чурбачке, подставляя пеклу то пузо, то бок, а то костлявую спину. С отвычки морило на свежем воздухе; старик очухивался и водил соловыми глазами, когда на крыльцо с громким коротким матерком вываливался, как из парной, кто-нибудь из выписанных. Иные уходили без слова, а то, мельком оглядев Колымеева, небрежно кивали и исчезали за тяжёлыми воротами; третьи словно винулись перед немощным стариком за своё здоровье.

– Выписали вот, дядя Володя! Пришёл к врачу сегодня, а она мне: так и так...

– Чё сказали? – принимал участие в спасённой жизни Палыч и освобождал место на широком чурбаке. Никто не присаживался, точно боялись начерпать от него смерти.

– Больше рюмки, говорят, не подымай!

– Это брехня!

– И я говорю! – оживлялся счастливчик. – Приду – у своей кикиморы литру стрясу: поправить здоровье! – И уже нетерпеливо рвался на улицу, на волю – прочь, за ворота! – Ты-то как, дядя Володя? Когда выписывают?

– Скоро уж! Когда ана-то-ми-руют.

– Ну-у! Поживёшь ещё...

Прощаясь, уходившим вслед смотрел старик, и в сопли расхлюпывался дряблый нос с синей точкой на конце.

#### 4

Из-под яра через огород всё утро носила старуха уголь. Круть была для её лет немислимая, а под гору грузное тело бежало наперёд ног. Шерстяной платок взмок от пота и сбивался на глаза, седые прядки волос липли к лицу, тоже мокрому. Из горла рвались сильные звуки – вот-вот тугой кадык накроет дыхание. И когда обмякшие руки уронили скользкий черен лопаты, губы Августины Павловны задрожали от горя и обиды. Не осталось ничего, кроме как встать на карачки и так собирать уголь. Она уже не накладывала, а с остервенением запихивала в ведро проклятые камни, до синяков исстукивая о них колени...

С очередным высыпавшим ведром старуха и сама повалилась на землю, и произошло это столь внезапно, что первые мгновения она мучительно соображала, кто бы это мог толкнуть её. Лежала, стараясь определить, жива ещё или уж нет. Ссадина на руке была пустячной, и всё же старуху взяла досада: «Да пропади всё пропадом! Соседей позвать разве? Эх, Колымеев мой, Колымеев! Беда и выручка...»

И тут старуха чухнула знакомый запах табачины. Пригибаясь под нечаянной радостью, она посемила к крыльцу, однако на полпути замерла от догадки, что Колымеев всё равно бы явился в огород... И уже сосущая мысль, много тяжелее начальной радости, пригнула старуху к земле, ибо более всего она боялась увидеть стороннего человека.

На лавке, положив большие руки на толстые колени, сидела наглая здоровая баба, первая в округе кулачица. Дымящаяся папироска прилипла к чуть отвислой нижней губе, но Мадеиха позабыла о ней.

– Хэлоу, тундра! – поздоровалась Мадеиха. – А и где ваши олени?!

Старуха плюнула на вбитый у крыльца железный лемех, о который счищали сапожную грязь.

– Чё это ты, Галька... ни свет ни заря?!

Решительно не замечая этого досадливого криканья, Мадеиха высвободила из-под жирной ляжки угол лавки, указывая, где старухе сесть.

– Ты никак поддатая? – помягчала Августина Павловна. – Что молчишь?!

Мадеиха утёрла губы желтоватыми пальцами, кулаком подпёрла подбородок. Вдохнула пропаще и скосилась на маленькую старушонку, в немом ожидании ткнувшуюся под боком.

– Гутя, – доверительно позвала Мадеиха, когда вытомила долгую паузу, которая настроила старуху к обороне. – Вы меня слышите?

– Слышу, чё ты? Не совсем глухая ишо! Колымеев иной раз тоже – станет насмешничать...

– Нет, вы меня не слышите, Гутя! – дурой-бабой возвысила голос Мадеиха и повторила с мокрым носовым шмыгом: – Вы меня не слышите! И я сама себя не слышу!

Она отвернулась к окну, где на подоконнике по сию пору лежали чёрные осенние мухи: старуха марафет ещё не наводила.

– Ты что это, Галочка? – забеспокоилась старуха. – Чего расквасилась-то, м-м?

Размазывая ладонью спрятавшуюся в морщинах прозрачную крупу, Мадеиха кротко икнула.

– Гутя, если я умру – плакать будешь?! – И повела, поправляя платок, шеей: – Е-е?

– Ты чего это?! Ты давай-ка брось эти разговоры, Галька! У меня тоже иной раз на душе...

А ты ж, однако, не равняйся со мной!

Галька ёрзнула, лавка шатнулась, едва не повалив старуху.

– Нет, вы можете ответить на илиментарный вопрос?!

– Могу! – утвердительно кивнула старуха, и до неё дошло, откуда дует ветер. Старуха почернела. – Чего тебе надо?!

– Будешь плакать или нет?! – Мадеиха соскочила с лавки.

– Буду! Отвяжись только, Христа ради...

Галька покорно села, спытала осторожно:

– А если глаз открою?..

Сотенную, ради которой Мадеиха устроила представление, старуха скрепя сердце и надув губы выпростала из заветной чёрной сумочки.

– Как там дядя Володя? – Широко раззявив ворота, Мадеиха живо обернулась. – Чё эти кролики говорят? Правда, нет ли... Я дак не верю!

– Иди-иди, Галочка! Вам бы только над чужим горем...

На ходу скинув штормовку, старуха повалилась на диван. Печь решила топить погоду. Поодаль сидела Маруська, смотрела с укором, и Августина Павловна сгребла её к себе под бок, будто живую грелку.

– А всё равно сука! – слыша кошачье сопение, в адрес Маруськи высказалась Августина Павловна. – Вся избегалась хуже шалашовки...

Она почти задремала, когда хлопнула дверь. Прибежал Хорунжий Тамир – сосед с правого боку. Склонив лобастую бритую голову, он закружил по комнате и о чём-то усиленно толковал старухе, выкатив страшные белки и путая татарские слова с русскими, так что понять его не было никакой возможности.

– Чё ты говоришь, Тамибочка! – слабым голосом взмолилась старуха. – Я нисколько понять не могу, куда целишь...

– У меня – лук! Э?! Понимаешь, нет?! – разъяснял татарин, складывая пальцы в доказательство своим мыслям. – Огурцы! Редиска! Вам полить мылом, они будут расти? У вас огурцы-редиска есть?! Они будут расти? Так, нет?! Э?!

Усилив воли Колымеева сообразила, что татарин ругает её за мыльную воду, которую она льёт за ворота. Старуха, верно, сносила ведро из-под умывальника к хорунжиевскому забору, но вреда от этого не видела. Правда, вода убежала в огород, но и то – ведь не одна старуха – вредительша. Вчера Упоровы, закончив постирушки, бухнули туда же полную ванну...

Однако ничего этого татарин и слышать не хотел.

– Тётя Гутя! Разве так можно?! Тамир так делает, а?! За поправу – знаете статью УК?! – Тамир дышал тяжело и крупно.

– А куда я должна лить?! – тоже и старуха взбесилась, соскакивая с дивана, чтобы дать татарину бой. – Мне скоро... восемьдесят лет, а я буду бегать под гору с ведром? На вот, выкуси!

Посрамлённый татарин испарился, а старуха по новой наладилась уснуть. Не удалось и этот раз: змеёй скользнула в дом высокая и тощая невестка старика Чебуна. Она каждое утро закапывала старухе глазные капли.

– Чё-то поздно сёдни, Лара, – послушно откидываясь на подушке, посетовала старуха. – Я уж сама два раз пробовала закапать, дак только полфлакончика разлила...

Ларка пожимкала пальцами резинку пипетки, набирая из флакончика в стеклянный стержень.

– Свёкор всю холку перегрыз... – Ларка хладнокровно выжала под старухино веко серебристую каплю. – Всё ему... не двигайся, баба Гутя! Всё ему не так... Вчера выгнал меня с ребяташками на улицу: иди, подлюка, куда хочешь, и выблютков своих забирай!

– А Борька же? Чё же он ему, грибу поганому, не заткнул рот как следоват?!

– Борька в смену был! Да и возьми с него...

– И где ты ночевала?

– У подружки за лесополосой...

– Сдурела?! Пришли бы ко мне... Ты что, Лара?!

Проводив цыганку из сенцев, старуха накинула щеколду на петлю изнутри, чуть приотворив дверь, поддев пластину лучинкой.

Щеколда, накинутая на петлю, означала, что старуха не уходила за ворота и находится в огороде. И только с отсутствием Колымеева она стала хитрить, набрасывая щеколду не снаружи, а из сеней, чтобы никто не тревожил притворной жалостью. Кроме того, Августина Павловна суеверно считала, что в незапертые снаружи двери скорее заявится горе, а так, отменив в огород, казалось, можно и вовсе отвадить беду от дома.

## 5

Звонким колокольцем ударился над стариком знакомый голос. Колымеев разволновался, как школьник, прогулявший урок, когда увидел поселковую учительницу.

– Да сидите, что вы! – удержала Рената Александровна, и он послушно осел на тёплые доски.

Ему нравилась тихая татарочка, по его меркам – совсем девчонка, шальным шурум-бурум скрестившая судьбу с неуёмным Тамиром Хорунжием, давно выплакавшая в жизни с ним глаза и как-то вся осевшая душой за те годы, что учительствовала в посёлке. Но и по сию пору она словно бы исходила не пустым цветением, а щемящей женской красотой, развер-

нущейся напослед в дивное и горькое соцветие кроткого материнского счастья и обильного бабьего горя...

– Выписали, Владимир Павлович? Или... на выходные?

– Дали жизни, когда со смертью все договорные бумаги заключил, а зачем дали – не объяснили!

– Значит, есть причина, – улыбнулась учительница.

«А поёт!» – вспомнил старик неожиданно сильный голос, которым изредка, во время застолий, учительница выпускает на волю нерусские, но всем понятные грустные и светлые песни.

В руках учительницы кожаный портфельчик: в школу торопилась, на урок, а увидела его – и не прошла мимо.

– Заждалась вас Августина Павловна. Третий день что-то не видно её. И я, грешным делом, не загляну никак...

– Уроки, конечно, опять же – тетрадки надо проверять, – согласился старик, думая о том, что бы такое могло стрястись со старухой. – Я ведь тоже учился... – Не сказал, что всего четыре класса. – До этих пор помню про деда Мазая и этих... зайцев...

– Да не то чтобы уроки, а... Как в жизни получается... Не то... Совсем я сбилась, ничего сказать не могу!

Учительница всплеснула руками и покраснела, но старик уже не чувствовал себя перед ней виноватым учеником: ему было о чём поведать.

– Запурхалась с тою жизнью, – подсказал Колымеев. – Вы не обижайтесь, что я так просто...

– Да нет, ну что вы! Я ничего... Ой, уже почти девять!

– Вечером встречины устраиваем со старухой, – внезапно придумал старик, соображая, как бы уговорить старуху на очередной разор. – Дак приходите, проведите старика.

– Я постараюсь! – И поцокала каблуками...

Сообщение о старухе смутило. Но солнце било приветливо и светло, и через миг Колымеев опять увидел себя в больничном дворике.

\* \* \*

И снова печаль-тоска ужалилась в том, сновиденческом, недавнем Колымееве. Старик кое-как поднялся с чурбака и поковылял в палату. На лестнице задержался, не осиливая десяток ступенек. Наконец, цепляясь за перила, покорил эту жизненную преграду на пути к смерти, доволочка до палаты и рухнул на своё койко-место.

Зашевелились на кроватях мужики, обступили, шумнули врача.

– Ты чего, Колымеич? – потрясли за рукав...

К вечеру его откачали. Старик даже похлебал несолёной пшённой каши, наелся до отвала, одолев несколько ложек.

– Не приходила моя старушонка? Придёт, – уверил Палыч себя. – Никуда не денется...

Старуха таскалась в больницу через весь посёлок. Уж он иной раз и прикрикивал, чтобы годила, через день ходила; старуха сердилась, зарекалась ногой ступить, а наутро заваливала... Палыч представлял, как она узнает о нём. Придёт, например, завтра, а медсестра молча проведёт её в палату и, наверное, выйдет. Или стоит у ворот, ждёт, когда старик её появится на конце улицы – как бог! как гладиатор! – а соседка ей в этот момент и брякнет: была, Гутя, в больнице, твой-то сёдни ночью... А вот же – третий день не шла.

– Не буду больше принимать ваши системы! – когда медсестра, катя впереди себя столик на колёсиках с ампулами и шланчиками, вошла в палату, твёрдо сказал старик. Медсестра убежала за Алганаевым...

В понедельник, после Пасхи, наконец нарисовалась старуха. Но старик не укорил её за долгое отсутствие, ибо и сам камень держал за пазухой. Не стал юлить:

– Березняки мне скоро, Гутя!

Старуха вынимала из тряпки банку с тёплым куриным бульоном, когда страшные слова прозвучали словно бы сами по себе, отстранённо от Колымеева. Скланка, выпав из её рук, ударилась об пол и раскололась, а капроновая крышка покатила по коридору.

– Ты что это, Колымеев, удумал?! – Старуха рухнула на кушетку, сваленная общим, непосильным и для двоих горем.

Старик промолчал, а старуха полезла в сумку, и они не к месту и не ко времени робко похристосовались и стукнулись золотистыми яйцами, крашенными в луковой шелухе.

– Нет, Колымеев, – вздохнула старуха. – Недоброе ты затеял. Я сколь перехоронила, дак у меня уж силушки нет, кто бы меня саму поскорей спихнул в домовину... Может, ничё ещё, дак чё раньше времени умирать? Сколь умирал уж, а не умер же. Может, пронесёт, чё ты прям сразу...

– Щас, пронесло. Или я не чувствую, Гутя?

– А системы?

– Эти шланчики-то? Они для здоровых полезны, а мне уж ничё, бабка, не поможет. И больше ни рубля не давай живодёрам! А то они деньги сшибать только... Нет, Гутя, дохлое дело моё. Алганаев обещался вырезать паховую грыжу, дак я отказался...

– И правильно, Володя. Вена Карнаков, тоже, лёг под нож против раку лёгких, а много ли прожил после? Нет, Колымеев, сколь ешь, столь всё твоё...

– И я говорю – березняки... – соглашался Палыч. – Только ты это... не плачь у гроба, жалеть ещё... И не пей много! Отведи всё чин по чину и в больницу ложись – подлечиться...

Старуха повздыхала-повздыхала, да не стала тешить ни себя, ни старика.

– Где похоронить-то тебя, Володя? В Нукутах либо здесь, на руднике?

– У стайки зарой, чтоб далеко не ходить! – грустно шутил Палыч. – И поросычье корыто сверху положи, вроде памятника...

Кивала согласно в ответ старуха, а сама думала: «И чего городит? До шуток ли...»

– Нет, я на полном серьёзе, Владимир Павлович. Мне тоже... нет резону...

– В Нукуты не вози, – помолчав, сказал серьёзно старик. – Ты помрёшь, дак я там зарасту совсем, а тут всё ж таки и знакомые есть, и соседи, и работал с кем... Неужто я не заслужил, чтоб меня похоронили?

– Это уж не беспокойся! – невольно хмыкнула Августина. – Что-что, а на земле не оставят. Так считаю...

– Только бы не парализовало! И сам измучаюсь, и тебя ухандакаю. А так ударило бы сверху чем-нибудь вроде рельсы – и всё...

По коридору нафуфыренная – в ромашках ресниц – медсестра, заложив уши наушниками от телефона, бойко прокатила скрипучую каталку с человеком, задёрнутым белой простыней. С оттягом ударились внизу входные двери, взревел мотор, к которому Палыч давно привык и только ждал, когда же металлический волк взвояет по его душу.

У старухи задрожали скулы:

– Золото мужик ты был, Володя! И руки золотые, а вот рот, извини меня, говяный! Тоже, погулял в своё время! Может, не пил, дак не валялся бы теперь тут, не умирал раньше времени...

Надоедливо зазвенела на окне большая чёрная муха. Старуха, точно в наказание кому-то, размазала муху по стеклу и, насупившись, поглядела на красную точку.

– Тоже – кровь! Нашей не чета – а всё-таки...

Тревожно в тот день смотрел он из окна в спину старухи. Сгорбившись, она уходила домой, пыля первой пылью, шаркала по резиновому голенищу болтавшейся у ноги кошёлкой. Старуха приносила ему сменную пару белья, а не сгодилося.

– Завтра чёрное принесу... – пожумкав на прощанье его руку, сказала старуха и торопко сошла по лестнице.

О чём думала она?

Перво-наперво, он наказал ей, чтобы нашла в диване его старые, но ещё добротные туфли, сама ли натёрла их гуталином, ему ли доставила вместе с баночкой. Почистила бы пиджак и пришила бы пуговку, которая болталась на одной нитке. Деньги откладывались с обеих пенсий, считай, не первый год. Так... Волосы зачесать назад, как любил, и ни крестов, ни прочей дребедени в гроб. Руки сложить на груди... но это само собой. Отвести девятины, сороковины, полгода и год – и баста, не поминать лишний раз, не тревожить его душу. На кладбище без дела не соваться, а то започает бить ноги. Нет, на родительский день навестить, покрасить оградку, чуть пригубить – ему, разумеется, отлить в рюмку тоже... Памятник мраморный ли, ограду ли железную витую – это старика не волновало...

«Лишь бы на земле не оставили», – сомневался в словах Августины, и тяжесть стояла в груди. Тяжесть в сердце несла старуха. Тяжёлой, муторной духотой изнывала закудрявившаяся зеленью больничная аллея, белея обрывками газет и другим мусором, который выбрасывали прямо в окно. Всё было тяжело: и жизнь, и смерть.

И когда старуха проковыляла в переулочек и скрылась из виду (не углядел, как вдруг пропала), сорвалось с языка:

– В последний раз! Эх, Гутя!

В ответ забасил толстый голос уборщицы, прерываемый учащённым сопением и свистом, вылетающим из мясистого рта.

– Чё ты... скуксился-то? – Подперев бока руками, уборщица прикрикнула на него строго: – Не робей, дед! Смотри на жизнь проще...

Рядом зашуршала швабра, отвоёвывая занятую им территорию, и Палыч побрёл в палату. Он сразу лёг на кровать и, повернувшись к тусклому вечернему окну, стал ждать своего окончания...

И вдруг словно внутренний винтик открылся в нём, стравило наружу ржавую жижу, как в старом полубочье, закисшую от долгого стояния. Опухоль сошла, жёлтая кожа обтянула кости, а там отменили системы. За какие светлые дела явилось ему с неба отпущение? Когда все ходы-выходы были заказаны, когда сам уверовал в березняки, а старуха, поди, надраила ботинки гуталином!

\* \* \*

– ...Огурчики солёные, сало, капуста с подвала! – зашумели старухи, зашуршали плащами. Лязгнула стальная плашка на двери магазина...

Навещая, старуха ссуживала ему мелочь на буфет. Старик же денег не тратил, бережно хранил в коробке из-под камфорного спирта...

У водонапорной колонки Палыч надавил металлически скрипнувший рычажок, и струйка воды брызнула в его сухую ладонь. Вода была холодной, из дальних недр стремилась наружу по железному горлу, и пить её он убоился, а лишь смочил лицо и голову. В сандалию завалился камешек и бренчал.

С жадностью уловил старик запахи бензина, натягиваемые ветром из гудэповских гаражей. В ремонтном цехе стучали в чугунную рессору.

Под окнами конторы вжался в стену жёлтый, потравленный дождем снег. Торчала из сугроба приставленная к крыше лестница, исклёванная дождем до рухляди. А под крышей, во

всю давно не белённую стену, тянулась красными ностальгическими буквами советская установка, искусно подновлённая к нынешним майским праздникам:

Если будут дороги, значит, будет и жизнь!

Заручившись поддержкой ГУДЭПа, старик вытряс из сандалии камень и, утолкнув обратно в котомку высунувшееся на волю бутылочное горлышко, степенно поковылял по тракту – чтобы жить.

## 6

Крупный уголь старуха берегла для зимы. Затопив печь дровами, она нашвыряла несколько совков околышей, а вскоре заметалась по кухне: из установленного над печкой бункера местного отопления вскурился сухой обжигающий пар.

– Да что ты, все напасти на меня нонче! Ладно, если бы пакости строила соседям, дак не делала ничего! И за чё карает Господь?!

Она всё-таки совладала с собой, принесла с веранды ведро воды и с табуретки, грозящей швырнуть на раскалённую печку, наполнила стремительно выкипающий водосборник...

После войны с водосборником старуха завела из гречневой муки тесто на блины. Натерев сковороду крупной солью, дабы замес не приставал к днищу, сварганила большое блюдо – толстых, сытных; для старика. Фронтowym конвертиком сложила в кастрюльку, бросила на горячие кусок масла и завернула посудину в шерстяной платок, чтобы принести в больницу будто только с печки. Ещё отварила картошку в мундире, слазила в подвал за баночкой солёных огурцов. Огурцы могли испортиться от долгого стояния (самой-то кусок в горло не шёл, а початую трёхлитровку когда осилишь?), сунуться же вторично в подвал, убрать соленье с вольного духа – морочно, да и неладно раз за разом ползать в хранилище, когда всё одно доставать потом. И старуха, отобрав несколько огурцов старику, отцедила из склянки половину рассола, добавила ложку сахара и залила по горлышко кипячёной водой.

– Так-то оно дольше сохранится...

Всё уместила в сумку, надела плащ и повязала платок, до короткого сипа запыхалась и шлёпнулась в прихожке на лавочку – отдохнуть в полумраке недужного утра.

Зазвонил телефон; старуху словно чёрт копнул.

– Но-о?!

На другом конце полетели длинные журавли.

И сызнова завертелось в голове: всё-таки звонил ночью телефон, а не приснилось ей.

– Помрёшь, Владимир Павлович... – Старуха со вздохом кивнула, точно не она – кто-то другой сказал эти слова, а она дала согласие.

Звякнуло в сенцах, и на пороге, как старичок-боровичок, вырос Колымеев, а голова старухи, будто срубленная, поклонилась к полу, чёрный гребешок, вздетый на макушку, – сорвался.

– Чё-то темно у тебя, бабка! – Старик нашарил за спиной выключатель и хозяйски запалил свет. – Никак чертей гоняла?

В скупом огоньке шестидесятки (лампочки мощнее старуха не брала из соображений экономии) старик предстал во всей своей болезно-корявой, но милой давней красоте.

– Где тапочки?!

Старуха, через «ой!» помалу возвращаясь в себя, извлекла из-под лавки завёрнутую в газету обувь, которую на днях купила Колымееву взамен стоптанной. Но старик не глядя сунул ноги в обнову и, заправив по привычке брюки в носки, пошёл в кухню. Пока не было ясно, по какой причине он вдруг свалился, о худом же старуха не хотела думать.

На кухне Колымеев выудил из-за пазухи бутылку и твёрдо, как точку в затянувшейся истории, стукнул посредине стола.

– Сдурел?! – наконец понесла словом старуха, и руки её, прижатые к груди, застыли всплётнутыми. – Одной ногой там уж, а всё бутылочки на уме!

Старик ещё порылся в кармане и сунул старухе плитку шоколада, ощутив на мгновение томительный запах дегтярного мыла, которым Августина мыла голову.

Ещё больше удивилась Августина Павловна, вертя в руках подаренную сладость и с грехом разбирая буквы на золотистой бумаге.

– Пенсию, что ли, получили, Владимир Павлович? И когда Зинка-почтальонша успела?! – Старуха невинно пожала плечами. – Ишо в больнице, наверно? А чё? И в больнице выдают – на системы-медикаменты надо тормозить из стариков? Будь здоров какое предпринимчивое государство! Даром помереть не дадут...

Упервшись в колени костистыми, туго обтянутыми сухой кожей руками, старик задумался, пугая отрешённостью своего лица. Всю дальнейшую судьбу старухи, неотделимую от жизни и судьбы Колымеева, дни и ночи неустанных, одной ей ведомых раздумий, слёз и переживаний должно было окрылить или окоротить плюгавенькое, меньше мухи, словцо.

– Всё... – в глубокой тоске обронил старик; старуха ладошкой перехватила побежавшие в ужасе губы. – Всё хотел спросить: Чебун приходил?

Сплюнув в сердцах, старуха выдохнула из лёгких набранный в тяжёлом предчувствии воздух:

– А ты как думал?! В ту же ночь пришёл!

Колымеев постучал ногтем по столу:

– Вот так и оставляй молодух без присмотра...

Он поднялся, ладонью погнал к затылку белоснежные стружки на голове. И Августина Павловна робко подвинулась ему навстречу, уронив набрякшие жилами маленькие кулачки.

– Здравствуй, Гутя!

Стоя на фоне крестовины окна, они неловко обнялись и по-птичьему клюнули друг друга в бледные губы.

## 7

К сорока годам жизнь Колымеева накренилась: ни родины, ни флага.

Отец под Ленинградом лёг, а Палыч с матерью скочевали в Сибирь, куда давно звала-тянула тётка Агафья, отцовская сестренница. Приехали – два фанерных чемоданчика. Тётка работала в колхозе учётчицей, на скотный двор спровадила золовку. Села мать под коровье брюхо, а Палыча к заду коровьему приставили – ворочай лопатой изумрудно-жёлтые лепёхи... Под матрасом у матери лежало пять рублей. Он углядел это дело и не сдержался, умыкнул бумажку. С деньгами пришёл на базар, купил куриное яйцо, за Ворот-Онгоем разжёт костёрчик, сварил яйцо в железной банке и слопал... Умерла тётка Агафья, изнасилованная беглыми людьми, и на место учётчицы взяли Марию Колымееву. Не то чтобы сытнее зажили, но кусок хлеба и молоко не переводились. Тут Палыч прикончил четыре класса и двинул в город с колхозной справкой, а вернулся трактористом с хрустящей корочкой. Кое-какая копейчонка завелась в кармане, где раньше хлебной крошки не наскрести. В срок спровадили мать на пенсию, пригласили вечером в сельсовет. Дойщицам за выслугу вручил Алексашка-председатель ленинские часы, а Марии – газетный свёрток. Дома сковырнули бумагу – рейтузы шерстяные. Хотела бежать, отчихвостить Алексашку при районном начальстве, да убоялась за сына. А там как пропасть навалилась, скрутило Марию в бараний рог. И жиром собачьим отпаивал Палыч, и таблетки приобрёл – специально в район смотался... Банка воды стояла на табуретке рядом с кроватью. Стала попивать, прятала фанфурики в снег, в поленницу. А он и так ничего: намучилась мать, хлебнула горького с горкой. И всё пока была жива, мало-мало придерживала его от ошибок:

– Ты, Вовка, стремись к людям поближе, не позорь мои седые волосы... Первым делом ступи в кансомол. «Кансомо-о-льцы, дружные ребя-я-та!..» – поднимала пьяным голосом, но, как бродягу в подворотне, её тут же забивал кашель. – Им час... все пути-дороги открыты... Потом женися, выбери себе каку-нить... активиску, а то так и будешь болтаться, как коровий шевляк в проруби... Уж она тебя обуздат, чтоб не ерепенился. Уважаю таких! Как пойдут языком чесать, дак слушать сладко... Потом сам в партию ступи... Хотя куды тебе в партию, пролетарий сраный...

Мотал на узкий юношеский ус Палыч, а как схоронил старуху, так решительно поменял выработанный покойной жизненный курс. В то время и страна становилась на новые рельсы, перевёл Хрущёв историческую стрелку. Пять лет отслужил Палыч в Монголии, а сразу после армии схлестнулся с инженеркой из города, избу родную заколотил. Пожил по уставу с первых дней, да головой пошевелил... Закатился в Ворот-Онгой, распоясался:

Выйду в поле, сяду ... —  
Далеко меня видать!

И чихвостили его тридцать раз на тридцати коллективных собраниях, и бивали по пьянке рогатые мужики... Наконец, попросили из колхоза. Подался сокол на гипсовый рудник, поспевав наперёд злой бумаги, которую Алексашка выслал директору карьера.

Директор не поворотил морду набок, посадил на бульдозер в цех погрузки. Подались в руки рублишки, благо вкалывать был горазд. А где деньги, там и... Не успел дух перевести после разгульной воротангойской жизни, как пять раз женился да десять развёлся. Уже и волос полез из башки, яйцом проклюнулась на макушке лысинка. Сорокалетие справлять не стал, ибо всё меньше тянуло на выпивку, чернота мыслей обседела душу, как стая ворон столовскую помойку. Вот и окружающие вроде бы со смешком стали называть его Палычем, а сопля малолетняя всё чаще кликала «дядькой». Прогнал Палыч от себя последнюю шушеру, выбросил пустые бутылки, вымыл ноги и лёг спать. Но червячок завёлся, точил ходы-норки для болезненных думок.

Как-то зашёл в пивнушку (завезли свежее пиво), за одним из столиков хищно выхватил взором незнакомую привлекательную женщину. Молочно-белая пена лопалась в её отставленной кружке тысячами пузырьков. Кепчонку набок:

– Спиваемся в рабочее время? А то давайте встретимся вечерком в свинарнике – я буду с газетой «Правда» в руках...

Но подняла незнакомка лицо, выхлестанное, как моросным осенним дождём, горевым горем, – и словно ведро бутылочного стекла ссыпали ему за шиворот.

– Я два дня тому сына отдала в землю... – Сказано было просто, как старому знакомому. – Семнадцати не было. Водитель тронул машину – Алёшка вылетел из кузова. Убился о бортик... Судиться подзуживают, да я не хочу нисколько. Нужно! Парня не воротишь всё одно, а я отродясь даже в свидетелях не была... А ты мне такие слова...

Бочком, комкая кепку, уходил Палыч из пивной, сломленный в своей холостяцкой бесшабашной крепке, после которой нет возврата к прежнему – только вперёд, к светлому будущему.

На годовщине со дня гибели сына Августины Павловны объявился, прежде разузнав про житьё-бытьё наборщицы из районки. Оказалось – дважды земляки, оба из-под блокадного Ленинграда, только Августина из Харагиничей – четыре версты ходу от него... Хохмили в курилке мужики:

– Куда тебя, Колымеич, потянуло! Ну давай устремись к этой величине, вместе будете передовицу складывать!

Шёл как на казнь: кто же знает, как встретит его Августина, когда в пивной виделись да пару раз на улице. Правда, с памятного дня Августина, улыбаясь кратко, здоровалась первой, но ведь не станешь принимать это на свой счёт...

На трельяже, рядом со стопкой водки, с черно-белого портрета глядело юношеское лицо с чёлкой, гладко зачёсанной вправо.

Августина вышла из кухни со стопкой тарелок – и не удивилась, как будто с часу на час ждала. Всё-таки оговорила ситуацию со своего, женского, бока:

– Вот уж на кого бы не подумала! Ну проходи в зало, что встал?!

За столом – корреспондент газеты Сашка Сапожников; редактор Аширов; Даниил Андреевич, директор рудника; Алка Шелихова – эта больше хвостом вертит; косая баба... Притулился с краешка. Августина сообразила, поднесла штрафной; заглотив и стал осматриваться на вражеской территории.

– Сталин болел, перед смертью уже... – рассказывал Аширов, отирая платком жирные красные щёки. – Двадцать четыре часа в сутки не выходили из редакции... Помнишь, Гутя?

Отставив от стола табуретку, она сидела в отдалении от поминальной тризны – со своим горем.

– Да помню! И дневали и ночевали в типографии...

– Августина помнит. Мы с ней хлебнули мурцовки! Каждые три-четыре часа новые сообщения о состоянии здоровья вождя... Из столицы в область, оттуда – в район... Само собой – тайно, закрытые каналы. Вот каждые четыре часа новый выпуск с последними новостями... Ты-то не помнишь, Сапожников!

– Я тогда ходить тренировался.

– Ты не помнишь, – подтвердил Аширов. – А мы с Гутей помним. Мне как редактору из района: так, мол, и так, – а уж я с листочком в типографию – Гутя с девчонками набирают...

– Плачем, а набираем... – Августина сделала Сашке знак, чтоб обносил по рюмкам. – А ведь не знали тогда, сколь он обиды нанёс людям. Откуда было знать правду?

– Неоткуда...

– Мы и не искали правды, – полез в карман за куревом Даниил Андреевич. – Если разобраться? Одна правда была, о другой и подумать не могли. Если бы кто сказал: тут, ребята, подвох! – так задумались бы. А так...

– Свинцовый набор, в пыли всю дорогу... А надо – куда денешься? И жалко, главное, было. Не за деньги – а по состоянию души жалели... Как щас помню, что сидим, плачем с девчонками...

Заскрипел зубами охмелевший редактор:

– Я-то не плакал – по прошествии лет могу признаться! Тоже, не пустое ведро – голова была на плечах, понимал уже кое-что...

– Ну-ка, Гавриил Викторович! Ты меня извини, но такие слова... Хоть и не прежнее время, а всё одно воздержись, пожалуйста...

В разгар поминок через стол, цепляя тарелки с салатами, полез к Палычу крепкий на морду мужик с крупным носом. Он давно не сводил с него бычьих глаз.

– Интересно: на какой именно должности состоите в редакции? Сотрудник отдела писем? Сторож-истопник?! – И потянулся к горлу Палыча широкой клешней.

Не дали разгуляться, осадили буяна.

– Остынь, Чебун, надоел хуже смерти! – пригрозила Августина; мужик засмеялся дурковато и сел. – Не смей проводить в моём доме своей политики! А то я, знаешь, быстро...

– Действительно, Сергей! – прикрикнул Аширов. – Ты на поминках, по-моему, а не... Ну-ка, приведи себя в порядок!

Когда разошлись гости, как на аркане утянув за собой Чебуна, который всё порывался замутить драку, – в кухне, среди беспорядочно сваленной грязной посуды, нашла коса на

камень. Жёлтая лампочка, засиженная мухами, освещала две сгорбленные фигуры, уголками табуреток приткнувшиеся друг к другу.

– Оно бы не мешало, конечно... – отвечала на его намёки Августина. – Но, опять же, у мужа родного ноги не остыли, сына только проводила, а тут на тебе! Не-е, Владимир Павлович, погодить нам нужно с тобой, дружок, а то нагородим сдуру...

Через месяц всё с тем же фанерным чемоданчиком заявился опять. Была осень, только откопались, и Августина намывала в ведре свежую картошку. Возле окна, поставив маленькие ноги на поперечинку табуретки, сидела косая баба, которую Палыч видел на поминках.

– Какая у тебя крупная картошка, Гутя! У меня в тот год такая же была, а нонче одни балаболки...

– Хватит тебе, Саня! Куда тебе одной? Меня также взять. Много ли нам надо теперь?

– Так-то оно так, да только не всё одно – крупную чистить или мелочь... Ты зóлу кидаешь?

Не успела ответить Августина – не брякнув щеколдой, нарисовался неожиданный гость. Саня мигом оценила обстановку здоровым глазом и вскинулась. Августина осадила:

– Сиди, Саня!

Палыч посчитал рвение, с каким Августина уговаривала Саню остаться, полезным для себя знаком, степенно прошёл в новых носочках по чисто выстиранным к зиме половичкам, чинно поставил на стол вино.

– Пойду, Гутя, – мельком глянув на бутылку, отнекивалась Саня. – Печь протоплю, да в шесть Валюху из школы встречать – боится мимо чебуновских ходить из-за собаки...

С Саниным уходом Августина излишне рьяно заворочала в ведёрке мешалкой. Она догадалась о цели его визита и, не то польщённая, не то разгневанная этой целью, с заметным борением в душе этих двух чувств наконец вытерла руки о фартук и, буркнув, чтобы шёл в зал, не стоял истуканом, забрякала дверцами шкафа...

С третьей рюмкой развязался язык – пошёл чесать, как Алексашка-председатель на собрании:

– Зарплату аккуратно получаю, плюс премиальные! – Палыч подумал, чем бы ещё можно было уверить в своей надёжности, и брякнул: – Опять же, на чёрный день кладу в сберкассу... А вы? Так и живёшь... живёте?

– А чего мне? Я хошь столь не гребу, как некоторые, а с протянутой рукой не побираюсь... Метнула камешек.

– А я ить давно к тебе приглядываюсь, Гутя! – ахнул Палыч, не в силах больше терпеть эти шашки-поддавки. – Хорошая ты женщина. Ничего, что я так, по-свойски?

– Дак чё? Слежу за ситуацией пока что...

– Ага! Давно, говорю, приглядываюсь...

– То есть капитально устроиться хочешь?

– Но.

Вдова невинно бровью повела, а уж он сбегал в сенцы за чемоданом.

– Вот носки... три... не, вру – четыре пары!.. Две сменные рубахи, кальсоны...

– Кальсоны?!

За хозяином вылетел чемодан – только фанерки затрещали.

– Туда тебе и красный путь, кот паскудный! – стукнулся кованый крючок.

Палыч потрогал ушибленную голову – с голубиное яйцо вспухла шишка.

– Вот же, накаркала мать! Та ещё активистка попалась, хрен ей в душу, два в печень...

В чемодане таилась бутылка красного – энзэ, а в парнике при свете спички отыскалась пара жёлтых огурцов... Скоро опьянел, развалился на крыльце, подпёр дверь ногами.

– А я ей подарок привёз! – орал Палыч, стуча в дверь. – Да знаешь, ты кто после этого?!

Всякий раз, как стук становился настойчивей, Августина выбегала в сенцы – ругаться через выставленное в раме стекло. Стекло убиралось для отдушины, вместо него натягивалась сетка от мух. Но через сетку – ругайся сколько влезет.

– Женишок, а женишок?! Вынь-ка деньги из кишков! Мне – деньгу, тебе – кишку: вот и польза с женишку!

– Не-ка! – глупо хихикая, задирался Палыч. – Летошний снег ты с меня получишь! А то размечталась на дармовщинку: и зарпла-ату, и пре-емию...

Долго дрожала оконная занавеска.

– Ступай-ка, Владимир Павлович, домой по-хорошему... – застыла – бирюзовая, в цветах.

«Алкашка! – себе в оправдание охаял Палыч. – Ты меня на гвоздь поддеть хотела, как кошёлку какую, чтобы пользоваться в своё удовольствие, а я не дался... Не-ка, не дался Колымеев!»

Он ещё раз постучал. И, на удивление, ему открыли...

Чebун громко высморкался. Он битый час поджидал соперника у ворот.

– Села муха на стекло, а Ивану в рот стекло! Ну-ну.

## 8

– Господи, дай нам, грешным, и деточкам нашим...

– Ну вот, – поморщился Палыч, стыдливо отстраняясь от старухи. – И сразу причитать!

– ...и деточкам детей наших...

– Гутя?!

– Эх, Колымеев ты мой, Колымеев...

Под чистым небом пришёл Палыч, а вот накрутило в вышине, наволокло иссиня-серых облаков. Они стремительно бежали в сторону гипсовой горы, падая за ней, как мокрые простыни с лопнувшей верёвки. В огороде, на оттаявших грядках, копошилась парочка скворцов, выискивая длинными клювами сонных весенних червей, громко, во весь птичий голос, ратуя за мир и согласие на земле...

«Кому согласие и понимание, а кому в клюве сидеть!» – относительно противоречий жизни помыслил старик.

Августина Павловна тоже выглянула в окно, да и плевать: одинокой грудой валялся на грядках уголь.

Тихо пел перемотанный пластырем приёмник. Просыпаясь, Августина Павловна бежала в кухню врубить радио: «Всё живая душа!» Приёмник от старости ворчал, хрипя и стреляя электрическим нутром. Обычно одного тычка хватало, чтобы сквозь яростное дребезжание ностальгически позвался «Маяк». Но и, откашлявшись, приёмник справлял свою работу неважно. Если передавали музыку, то слышно было лишь мелодию, ибо слова покрывал треск. Хорошо, если крутили русские народные песни, которые Августина Павловна знала назубок и могла бы подхватить с любого коленца, напойте мотив. С новыми дело обстояло хуже; не понимая толком слов, старуха кляла поседевший от пыли приёмник, называя его «бессловесная мула», а заодно поносила современных горлодёров. С годами слух у неё притупился, поэтому колёсико громкости раскручивалось до отказа. Радио жило словно бы отдельно ото всех. Оно то могло замолчать внезапно, и старуха крестилась: «Ну слава богу, замолкло!» – а то вдруг ни с того ни с сего воскресало и, вспомнив, что с накрученным колёсиком ему дали полную волю, ужасающе дребезжало. «А-а, чтоб тебя! – как ветром, подкидывало Августину Павловну. – Как ш-ш-шурану щас в печку!»

– А сейчас хор... хр! хр!.. по многочисленным просьбам жительницы... хр! хр!.. ской области исполнит русскую народную песню «Ой, мо... хр-хр!» – вещал тоненький голосок дикторши, но когда он пропал, старуха стала вертеть колёсико.

– Пой, кому говорят!

Только потом Августина Павловна догадалась, что укрутила колесо в другую сторону. Погнала ногтем обратно. И захрипело-завыло из запорошённого серой пылью зева:

...Ма-а-йив-в-во-о-о к-а-а-нь-нь-а-а!  
хр-хр-хр!  
Ма-а-йиво к-а-а-нь-нь-а-а,  
Бе-э-е-ла-гри...  
хр-хр-хр!  
У ми-и-и-нья жи-эн-н-на-а-а-а,  
О-о-ой, и-и-игри-и-и-и-в-в-а-й-а-а-а!..

– Недопили... – пояснил старик.

Августина Павловна потерянно воскликнула:

– Я какая в молодости певунья-плясунья была! Скажут: «Сделай, Гутя!» – и спою, и спляшу! И куда моё здоровье делось? Нонче как гвоздь проглотила. Не знаю, что-то будет, Колымеев...

Ждала Августина Павловна слова от старика, а в ответ молчок. И, только выйдя в сени набрать из фляги воды, углядела на гвозде больничную сумку Колымеева... Скособочился от боли и обиды рот. Забыв про чайник, вбежала с сумкой в руке – как воришку, за шиворот приволокла, – швырнула в ноги:

– Это ты что же удумал – в гроб меня вогнать?!

Нутряной камень, укатившийся с приходом Колымеева в печёнки, снова подоткнул снизу горло – застрял в груди вздох, темень в глазах. Закрыв лицо руками, старуха убежала в прихожку...

– Годы мои годские! Там зола выгребена в печи? Угорим... А-а, к чёрту всё!

– Выгребена, Гутя, – поспешно отозвался старик.

– Ты мне скажи одно, не трави, Христа ради: на выходные отпустили, что ли? Я не пойму... Ну?!

– Совсем, Гутя!

Старик приковылял в прихожку, сел на уголок лавки.

– Очки не сломай.

– А?

– Очки положила где-то здесь, дак не сломай!

Старуха вспомнила и сходила за чайником, включила конфорку, сетуя, что даром топилась печка и теперь «сколь наматает на счётчик – неизвестно».

– Интересно девки пляшут – по четыре штуки в ряд... Уколы-то все проставили? А то я позвоню...

– Все. Обстоятельно ремонтировали! Алганаев по имени-отчеству со мной, другой раз за руку поздоровается...

– Хорошо, – согласилась старуха. – Но знаешь, как бывает? Скажут: жив-здоров Иван Петров – а лишь бы с глаз долой...

После чая старуха стояла в прихожке с кошёлкой в руке.

– Чем кормить-то тебя? Отощал! Рыбки хошь, м-м?

– Блины же есть?

– Это когда поллитру взял?! Раньше и чекушки хватало...

– Когда это было? – Старик напряг память, но пришёл к выводу: – Всегда ещё бегать приходилось!

Щемяще билось солнце в окне; старик щурился от света. Щурилась и Августина Павловна, но от другого светила, которое, сообразно с её жизнью, то заходило за тучку, то сияло в воздушной синеве. Ей предстоял торжественный момент, она его дожидаться не чаяла: идя сейчас по улице и заходя в магазины, всем встречным-поперечным утрёт старуха носы, сообщая, что старик «жив как никогда» и «дай бог вам так»...

– Соседей придётся звать, как думаешь? – Старуха покосилась на бутылку, которая всё ещё стояла на столе. – Вдвоём-то не осилим.

Палыч нынче был хозяин. Велел позвать Ларку с Борькой, старика Чебуна, Мадеевых... Намекнул, что неплохо бы и учительницу.

– Дак бутылки мало! Одна цыганка пьёт, как чайка. Глыт, глыт, – и не пьянеет! Вот тебе и сухостоина!

– Ну, две бери! Две-то завсегда лучше одной, Гутя.

– А денежки? Пенсия когда-а ещё?! – Августина Павловна решительно громыхнула дверью.

## 9

Горе – это волна без часов прилива и отлива.

Вот и у старика Колымеева было горе. Случалось, что оно затихало, а вскоре наваливало – лишней рюмкой, колким словом, косым взглядом...

– Пустым стручком жись прожил! – горевал Палыч. – А в пустоте – какая надежда? Так, одно эхо...

Сыскались, верно, родственники через тётку Агафью, так, седьмая вода на киселе. Он их называл – племянники. И уж как они вызнали о нём, но однажды наехали – здоровые и весёлые, мордами – в колымеевскую породу. Судомеханиками работают на корабле в Приморье, зашибают прилично, пока холостякут.

– Главно, на всяких там шалаяв рты не разевайте! – строго учил Палыч, а они, дурачки, посмеивались. – Жись, племяши, во здесь вот держать надо!

И указывал на сильный ещё кулак.

А племяши опоири его вином да укатили. Открытки одно время слали поздравительные, и Палыч ответно делил деньги с получки, а потом и с пенсии. Но как бзыкнули сбережения и шиш пророс в кармане, замолчали и племянники, завалящего письмеца не пошлют старику ко святому дню.

– Пиво ко-ончено, ресторан закры-ыт! – привыкнув валить правду в глаза, хрипло кричала старуха, бывая навеселе.

Старик вздыхал, но не принять старухиной правоты не мог.

– А ведь и у нас, Гутя, могли бы пойти детишки, если б в своё время шель-шевель! – пьяненько грустил Колымеев.

Старик переживал одиночество в огороде под черёмухой.

– Эх, Колымеев ты мой, Колымеев! – без слёз причитала Августина Павловна, наблюдая из окна сутулую фигуру. – Носки одел ли?

И вот однажды зимой ещё с порога прокричала первая телеграмма.

– Ну, закрутитесь теперь, хлебнёте мурцовочки! – в адрес зятя с дочерью прокаркала Августина, тут же собрала сумку и упорхнула к дочери в Усть-Илимск.

И пошло-поехало, несколько внуков высочили на свет, как из стручка горошины. Летом сопливая шайка-лейка объявлялась в стареющей обители Колымеевых.

Довольным кочетом бродил Палыч по двору, шаркал ногами: дед да дед.

– Полная катавасия у тебя в хозяйстве, Колымеев! Лежали бокорезики на крыльце тридцать лет, а теперь найди их у этой бражки...

Старик шастал от кладовки в огород и обратно без дела, дабышний раз удостовериться в том, что внуки неотступны от него. Он любил их чистой любовью, не разбавленной другим чувством. Эта любовь не кичилась, со стеснением заняв в детской жизни скромное место и больше смерти страшась, как бы ей не щёлкнули по носу.

В этой своей боязни навредить Палыч готов был за всякое баловство целовать в маковку детей, и старуха опасалась, как бы старик не испортил дела:

– Чё ты... как этот?! Дал бы мешалкой куда следует! Я дак, примерно, нисколь не робею на этот счёт...

И со шнуром кипятильника наступала на пугливо сбившихся в стайку проказников.

– Змеи! Фашисты! Всю малину изурочили! Хотела сварить к Спасу, а они... У-у! Кто первый в малинник залез?! Ну, вот вам, а не варенье! – собрала в кукиш три пальца.

Но ударить, опустить грозное оружие на тонкокожего ребёнка старуха не могла.

– Твоя работа! Вот кого пороть-то надо!

Нечем было крыть старику: два бидончика минувшим утром, пока старуха ползала в комхоз оплатить энергию, нащипали с ребятишками ради эксперимента.

– Ешьте, мужики, ешьте! Бабка себе на базаре купит! – кривясь лицом, передразнивала старуха.

На защиту ему выступала Полина, мягко смотрела всегда, будто влажными тёмными глазами, движением головы сметая с плеча тугую, но заметно редющую косу, говорила надсадным хрипотком, и слова гуляли в её устах, как ветер в пустой рюмке:

– Да ладно, мама. Много ли они у тебя съели, а ты уже и шумишь на дядю Володю.

Младшенькая, Лида, такая же чёрная, как и мать, вцеплялась:

– Правильно: мать старалась-старалась, а всё насмарку! Ты, Поля, зря их защищаешь в этот раз. Дед, конечно, мог бы и удержать. Сколь они у тебя, мать, сдёрнули с куста? Много, нет ли?

– Подходяще попользовались услугами! – давала справку старуха. – Спасибо, растила-ростила...

Мелко сеял ресницами старик, а Августина Павловна демонстративно ускокивала в дом – лежать на диване и пугать отрешённым лицом.

– Все люди как люди, а эти... на блюде! – выносила окончательное решение по малинному делу.

С отъездом внуков дом словно умирал. Сухая крапива у плетня шелестела суше, зряшно наливалась сладостью малина, а вечера были длинные и безрадостные.

Злее бился над черёмуховым кустом винт махорочного дыма.

– Эх, жись! – шуршали раскурки из вчерашней газеты. – Хреновая ты какая-то штука. Упущенье сделал главный конструктор: слёз много, а сухого в магазине мало...

– Как там Костя с Валюшей? – когда внуки оперились, всё томил Колымеев старуху, не в духе являющуюся с переговорного пункта. – А Игорёк, а Сёмка?

Про Полину, любимицу свою погибаемую, и заикнуться боялся...

– Пусть с родителями живут! – обыкновенно отмахивалась Августина Павловна, что должно было означать: живут себе, стали взрослыми, мы им не нужны.

Вечером в доме Колымеевых – застолье. Накрыли в зале и стали ждать гостей. Палыч побрился, над тазиком ополоснул шею и голову (старуха поливала из кружки), надел свежую рубашку. Поверх рубахи пришлась старенькая, но ещё добротная – с горловиной уголком –

шерстяная безрукавка, от долгих лет носки ставшая пушистей и мягче. Безрукавку старик надевал в исключительных случаях, да и тщательная процедура с мытьём и гардеробом совершалась точно перед важной официальной встречей.

Старуха с иронией наблюдала за ним, комментируя происходящее:

– Надухарись, ага! Ой, любит одеколоном мазёкаться! Переводит только...

Послеобеденный дождь проел в тучах трещину и посыпался на тёмные ладошки крыш. Он застал старуху по дороге из магазина и, словно хищный ворон, исклевал её душу. Ещё у порога она швырнула тяжёлую сумку, выгнала старика из кухни и стала подбивать бабки. Подведя баланс, старуха пришла к неутешительным выводам:

– Четыреста рублей ухандакали с тобой, дорогой товарищ! Клади зубы на полку...

Теперь старуха сидела на диване и не сводила глаз со стола.

– Рыбу надо было не брать! – задним числом явилась к ней маленькая экономическая хитрость. – Направила бы солёных огурцов – и только. Никого не удивишь! Водочка была бы...

В половине восьмого закашляло в сенцах.

– Ну, прутся! Попомни моё слово: ничего не оставят! Говорила: давай направлю свойски, посидим вдвоём. Дак нет, где же?! Всю ошатю надо собрать!

– Чё мы, нищие?!

Старуха зажгла на веранде свет, чтобы гости в потёмках не опрокинули со стола кастрюлю с тушёной картошкой.

– Проходите, гости дорогие! Только вас и ждём с Колымеевым! – чудно преобразился её голос. – Владимир Павлович говорит: давай, бабка, собери на стол мало-мало да посидим вдвоём. Что ты, говорю, Володя! Соседушек дорогих надо угостить, ведь не куркули какие-нибудь!

Чебуновы стряхнули у порожка мокрые куртки. Старик Чебун, вытирая лысину, первым угромоздился за стол.

– Давай угощай, Паловна! – потребовал Чебун, радостно озираясь по сторонам, всё больше на чашки-кружки. Такой человек если – Чебун. – Проставляйся за Володьку.

Невестке было неудобно.

– Вы, папка, сразу к чашкам! – всплеснула руками цыганка, уже поцеломкав Палыча в обе щеки. – Ажно противно как-то.

– Цы-ыть, сявка! – урезал Чебун. – Знай свой шесток.

– Пусть сидит! – согласилась Августина Павловна. – Сами давайте садитесь, и так припозднились.

Младший Чебун – вылитый отец плюс светло-пшеничные усы, которые старик никогда не носил, – возразил:

– Как не припозднишься, баб Гуть? – Шершавой ладонью Борька зализывал перед зеркалом волосы. – Две коровы, свиньи, куры... Пока уберёшься! Из-за этого убора вообще скоро из дома ни ногой. На днях сговорились с Ларкой сбегать в клуб, по-культурному один вечер провести. Так нет: корова место стала искать, телиться надумала...

– Культурный, посмотрите на него! – сразу взелся старший Чебун. – Только бы на гулянки и шлялились! А кто, я вас спрашиваю, за скотьём ходить должен, пока вы, культурные, по клубам будете рассиживаться?! Я?!

– Что им, дома сидеть, тебя караулить, чтоб с печки не убился? Ты в их годах не был?

– Я по клубам не летал!

– Тю-ю, расскажи кому-нибудь другому! – хмыкнула старуха, замолкая на этот раз. Однако всем стало понятно, что за компот был в своё время старший Чебунов.

За Чебуновыми робко толкнулась в дверь учительница. Щёлкнула кнопкой, сворачивая красный зонтичный бутон...

С приходом учительницы Августина Павловна прониклась важностью затеянного и после отлучки в комнату предстала облачённой в синюю кофту с крупными ромбиками-пуговицами.

– Однако пора, Владимир Павлович? – осведомилась деликатно, но тут в дом не вошёл, а ворвался Тамир, и вместе с ним ворвалось ощущение спеха неведомо куда и зачем.

Заорал ещё с порога:

– Э! Тётя Гутя! Я там молоко со сметанкой принёс, в сенцах поставил! Банки потом отдадите! Только помойте, а то Рената Александровна ругается на меня, когда немытыми отдают! А у меня – тётя Гутя?! – у меня рука не пролазит в банку!

– Неправда! – заалелась учительница. – Никогда и слова не сказала. Это уж ты наговариваешь на меня...

– Сколь я, Тамибочка, тебе должна? – спросила старуха. – Только не ори, ради бога! У меня без тебя головная контузия от жизни.

Не слушая, Тамир выкатил страшные белые глаза:

– Тётя Гутя! А то мы, может, пойдём, а? Э! Рената?! Идём отсюда!!!

– Ой, да сиди, Тамибочка! Извини меня, пожалуйста, дуру старую! Безо всякого даже сказала...

Приклепала старухина бессменная подружка, муравьём проползла в дальний угол.

– Садись, Саня, к столу, чё ты как неродная?

В ответ Саня закивала, сухо покашливая в скомканный у рта угол шерстяной накидки, в которой Саня и зиму, и лето – какая-то непроходимая хворь с лёгкими.

– Да не, Гутя, я тут. Чё, госьподи?

Всякий раз Саня являлась в дом как впервые. Её колотила то ли старческая, то ли нервная тряска, так и подрагивала головёнка, как поплавок на волне. Вот и сейчас – кивает седой головой, словно воробей зёрнышки клюёт, покашливает да позыркивает по сторонам: свыкается с переменной обстановки.

Последними ввалились Мадеевы – с шумом и треском.

– Какая чума дверь не найдёт?! – вскинулась старуха.

В сенях происходило вот что: Мадехи вышибала мужа обратно на улицу и уже сбила Колькину кепку, но Колька упорно не уходил.

– Нажрался, свинья... – когда Колька на тяжёлых ногах запёрся в зал, пояснила Мадехи, перемалывая во рту ириску. – Теперь весь банкет трещать будет – да-а! Он же у меня, как телевизор: бу-бу-бу! Рот заткни – задницей рапортовать станет. Телевизор-то выключить можно, а эту ходячую радиостанцию как? Кочергой вырубить только!

Колька был такой же низкорослый, как и Галька, с огромными руками, неутомимыми в работе и в совместных с Мадехой гулянках, которые заканчивались дикими драками. После одного такого застолья Мадеев потерял глаз, а Галька сохранила на животе автограф ножа.

То ли подчёркивая особое отношение к старику, то ли ради потехи, Галька иногда звала Палыча на вы и – дядей, а старуху всегда просто Гутей, но потом путалась и несла с пятое на десятое.

– Здравствуйте, дядя Володя! Давно приехал?

– Откуда это? – полюбопытствовал старик, спешно прижимая к животу ладошку, в которую Мадехи сунула горсть ирисок.

– Дак а с курорта. Как там в Сухуми? Пьют «Анапу»? Е?

Палыч поддержал весёлую Мадеху:

– Пьют! – Он подумал и развернул одну ириску, но пососал и запечатал обратно: не брали зубы крепкую сладость. – Больше нашего понужают.

– Во черти! Да, дядя Володя?

– Давай к столу! – хмуро буркнула старуха. – Водка киснет.

– Да-а я разве против?! Тьфу! – Галька в сердцах плюнула в сторону Кольки: он уже сидел за столом, оглядываясь исподлобья. – Зараза – она уже здесь!

– Где это он так? Либо аванс давали к Первомаю?

Чebун от пояснения воздержался.

– А у соседа у вашего, у кролика. Мадеев же водку на спор стаканами пьёт – да-а! Ему скажи, дак он вместе со стаканом сглотнёт. А тут позвали шифер стаскать и подали, видимо...

– Как же, баню ведь кроют! Шаповаловы съезжали – пачку шифера оставили. Нам с Колымеевым – чё? Лежит да лежит. А этот... в первый же день стаскал шифер в стайку, а дверь на замок закрыл. Шаповалов вскорости приехал: шифера нет. Покрутился-покрутился, да и укатил ни с чем. Недавно встречаю его у магазина: дознался, говорю, Вадим, где твой шифер? Сразу, говорит, понял, тётя Гутя, только связываться не хочу...

Старуха долго думала, что сказать людям. Нужно было сказать что-то важное, но Августина Павловна терялась: всё было важным, и она не имела права (да и не могла, как ни силилась) забыть ничего из своей долгой и трудной жизни, кому-то, верила она, очень необходимой. А иначе зачем же она несла свою боль, свой полынный опыт?

Когда все устроились, Августина Павловна повела застолье невесёлыми словами:

– Что я вам хочу сказать? Человек один раз живёт на земле, поэтому поймите меня правильно и не осудите... Я много в жизни повидала. Война, как целая жизнь. Тот, кто пережил её, может считать себя вот так пожившим! – чиркнула по подбородку. – И внукам, и правнукам ишо с отрыжкой достанется этой жизни! А что я, спрашивается, видела? Детство взять?..

## 11

...А из детства помнила старуха: в амбаре, в углу, стояла под деревянной крышкой большая кадушка с брусникой. Мать поднималась до света, чтобы растопить печь, заводила мешанку из гречневой муки и, краснея лицом, стряпала во всю сковородину блины, заправляла брусникой.

За матерью вставал отец, босой сидел на лавке.

– Что, мать, есть ещё брусница?

– Есть, – отвечала мать, отираясь рукавом. – До Ильина дня должно хватить.

– Ладно. Провод сегодня будем менять на втором участке, собери с собой – к обеду не приду...

Августина с младшенькими спала на печи, но едва белёный кирпич наливался жаром, она вскидывалась и сверху глазела на мать, как та натирает сковородки крупным солёным камнем. Отец одевается, мать отдаёт ему первые блины, и он уходит на работу, а Августина лежит и ждёт, потому что не скоро поспеют новые блины.

Но вот блюдо пополняется, и Августина спрыгивает с печи, а за ней сигают младшенькие и сползает всклоченный брат Фёдор. Всех мать усаживает за стол, пододвигает дышащие блины. И младшенькие давятся от азарта, а брусничный сок бежит по щекам, а мать смотрит и утирает малиново-красные щёки.

– Фёдор, дядя Митя ругается: второй день спишь на косилке. Нонче снова до зари гулеванил с девками?

– Ну.

– Смотри, чё батя скажет.

– А я вчера видела, что Федька салом чирки натирал и зблой посыпал, – доложила Августина.

– Ешь, Гутя, ешь...

Убирая пустое блюдо, вздыхает мать, а вечером идёт в амбар и приносит тарелку брусники на завтрашнюю выпечку, и тарелку обвязывает тряпочкой, чтобы не залезли тараканы.

Августина ночью встаёт и на цыпочках крадётся к столу, пьёт кислый брусничный сок, который дала ягода. Мать из спальни окрикает:

– Слехотит, Гутя, дак не возрадуешься!

– Я малехо, самую чуточку! – напившись, Августина карабкается на печь и сосёт пальцы на руках, потому что на пальцах капли сока.

Так продолжалось до середины лета, а потом брусника выскребалась до доньшка и мать подавала блины пустыми. На излёте августа в амбарной кадучке вновь загоралось красно солнышко... Ягоды не варили, а так, перебрав на противнях, сдув листья и хвою, ссыпали в кадку и заливали сырой водой. С первыми заморозками замерзала вода в кадучке, ножами долбили красные льдинки.

В амбарном углу, сразу над кадкой, сплёл большую сетку жирный паук, а сам сторожил добычу за банкой с керосином, и когда Августина сунулась за чем-то в холод и темноту, то паук, шевеля страшными ножками, выполз из своего укрытия.

– Паук-паук, не ешь меня, а съешь Фёдку! Он нонче опять всю ночь шорохался с девками, а теперь спит, как убитый, – скороговоркой взмолилась Августина, отступаясь и рукой нащупывая позади себя дверную скобку. – Мать хотела залезть на чердак, а Фёдка убрал лестницу – теперь сам чёрт не разбудит его, разве дом загорится...

...В тридцать девятом корова упала в обрыв. С прутом в руках бродила Августина по перелескам, а Фёдор с отцом шукали в дали.

– Красуля, Красуля! Либо ты домой не хочешь ийти? Дак иди – Фёдор не будет крутить тебе хвоста...

Нашли, когда вздулась животом. Августина встала за спиной у Фёдора и долго смотрела, как корова не дышит.

– Фёдор, она оживёт?

– Дура, она же сдохла!

– Насовсем?

– Нет, до Первомай.

– Надо батю звать... – Мать утёрла рукавом расхлюпавшиеся губы. – Гони, Фёдка, до станции...

У Красули зубы все чёрные, обточенные о твёрдый дёрн, застыли во вздохе шершавые губы, под языком – неперемолотая жвачка.

Ушёл Фёдор, и Августина стала ждать отца, чтобы он оживил Красулю.

– Сейчас папка придёт... Мамка, папка сильнее всего?

– Молчи, Гутя...

– А председатель над ним власть?

Но отец принёс моток верёвки, оплёл корове рога и ноги. Скашливая от надсады, гуртом волокли на верёвках домой и за зиму съели корову. Августина не касалась, но Фёдор сказал, что она умрёт, как Красуля, и Августина обглодала косточку, чтобы жить.

А вечером другого дня пришёл с работы отец и сказал, что Красуля открыла всем коровам смерть и теперь они тоже вымрут. Августина подумала, что смерть вроде амбарного паука, плетёт свою невидимую сеть, а сама поджидает за банкой с керосином.

– Не пойду больше в амбар! – когда мать была одна в кути, заплакала Августина. – Ты, мамка, Фёдора за меня посылай – он Варьку-Люпшиху обнимал в коноплянике...

Августина бежала тайных углов и переулков, а если случалось зайти в тёмное, то прутиком рассекала впереди себя липкую паутину.

– Паук-смерть, не ешь меня, а ешь кого-нибудь другого, я тебе блинка с брусницей принесу – вот мамка состряпает...

Заболели на ферме коровы, утробно охали и давились жёлтой слюной. Мёртвые туши вытягивали за скотный двор, а ночью разделявали.

Прошёл слух – гурьбой, словно мураши, наваливались и, крякнув, ставили коров на ноги и – на растяжки. Думали от бессилия жизни, что не умрут, если растянуть на верёвках. Но коровы всё равно закусывали языки, а на кончики их садились жёлтые мухи, и бабы опять волокли коров на скотомогильник, где вороны хуже паука. Ночами, как призраки, бродили люди по сорищу, пугали палками ворон, и тревожный карк стоял над селом, и Августина не ходила дальше конного двора, а из огорода смотрела на чёрных птиц и чёрную землю вокруг...

...Незадолго до войны умерла мать, свалилась не от смерти – от жизни. Верёвочкой не успели кистей связать, как в распяты застыли руки, с хрустом складывали на груди. Положили в необтянутый гроб, в сырую от мокрого снега могилу опустили и зарыли.

– Вечная память товарищу Гавриловской! – сказал одноногий председатель, которому ногу оторвали на финской. Председатель пожал отцу руку, Августину потрепал по щеке, хоть она и не плакала, потому что, наученная старухами, кинула в могилу монетку с чеканным Лениным и знала, что Ленин в обиду мать не даст, так как он всюду сеет свет.

Совсем прижало. И как-то отец сел в деревянную лодку и выгреб в Ладожское озеро. Долго стоял в лодке – грубый, тяжёлый. Неловко оглянулся: следом прибежали к озеру дети. Сидели, ждали его на берегу. Смотрели за ним. И он глядел на них. Затем быстро погрёб к берегу. Не стерпел, выскочил прямо в воду, сграбастал одного-другого, немо и мокро тычась в детские головки губами. С ним и Августина с младшенькими зарыдали...

Он хотел утопиться.

...По весне отец привёл в дом рыжую женщину без платка, портрет матери со стены снял и в амбар унёс, где паук. А война началась – к Августине в школу пришёл. Августина сосала кусок ржаного хлеба, по сто граммов выдавали на большой перемене.

Говорит:

– Вот повестка, призывают служить.

Взял её за руку и повёл к сельсовету, где на траве и брёвнах сидел уже народ. Бабы ревели в голос, а мужики сморкались с матерщиной. Августина, на баб глядя, тоже стала реветь в голос. Потом спросила, почему режут бабы, и отец сказал про войну.

Выступил председатель, про линию партии сказал. Посадили мужиков в машину и повезли. Августина с другими ребяташками бежала следом, цеплялась за кузов.

До своротки на Алексеевское добежала, когда отец из кузова прикрикнул на неё, махнул на прощанье да и упылил фронтовой дорогой.

Августина побрела в село, но домой не захотела. В школу сунулась, а на двери замок – учителя тоже забрали на фронт. Бабы на перевёрнутых вёдрах подле колодца сидят, толкуют оживлённо и кончики платков, как листы подорожника, к больным глазам прикладывают.

Августине стало скучно жить, и она опять ушла за село.

Долго чиркала сандалиями по дороге, по которой увезли отца воевать против немца. Уж и Алексеевское минула, но не задержалась в селе, потому что у конного двора на неё закричали голодные собаки. А она всё шла и шла – в сторону, куда уехал отец, легко было идти, а назад не несли ноги. Когда утомилась, свернула в лес и оказалась у матери на кладбище, чтобы рассказать про войну и про алексеевских собак.

У матери на могиле пророс лопух, а под лопухом свернулся розовый дождевой червь. Августина хотела сорвать лопух, но пожалела червя, которого могло изжарить солнце. Тогда Августина заложила червя холодными кладбищенскими травами, чтобы он жил наверху земли и не точил гроб и кости, однако червь выбрался на волю из зелёного гроба и умер на солнце. Августина пальцем проковыряла дырочку в земле, схоронила червя и заплакала, потому что у неё теперь было две могилки – материнская и дождевого червя.

Но долго плакать она ещё не умела. Вскоре в глазах пересохло, и Августина стала смотреть на солнце, чтобы умереть, как умер одинокий червь.

В небе колготились облака, и мелко, рябя в глазах, дрожали в поле венчики ромашек. Верно, они дрожали от дальнего гула войны, и Августина прикинула ухом к земле, но ничего не услышала. Чёрные тучи, как вздымаемая вражескими сапогами пыль, взлетали высоко, застыли синий разворот неба, и оседали за холмами, куда уехал отец...

До вечера просидела у деревянной оградки. Солнце не изжарило её, и Августина легла в лопухи. В лопухах копошились муравьи и не дали ей забыться, Августина натолкала в сандалии сухой травы, надела на смозоленные ноги и отправилась в Харагиничи.

Закрапал дождь, потому что червяк вылез из земли и умер; Августина вымокла до нитки и проголодалась. Пришла домой, мачеха олады стряпает. С лавки сестры и братишки Августины глядят на мачеху. А мачеха не даёт им есть, гонит из дому.

– Где шляешься с обеда? – не оборачиваясь от огня, спросила мачеха, утирая рукой такие же свекольно-красные щёки, как у покойной матери. – Полы в сенцах вымой да воды кадушку впрок принеси...

– А дашь оладушку?

– Сделай сперва!

– Я есть хочу!

– Не выпадет прежде работы.

– Сама и делай! А придёт Фёдор с работы, так и заберёт у тебя олады...

– Хватились! Федьку ещё утром, когда ты в школе была, увезли с первыми подводами!

Августина с младшенькими забралась на печку и согласно затихла, чтоб их не согнали со двора, а убралась мачеха в сенцы – спрыгнула с печки и украла с тарелки горячую оладушку. Оладушку поделила на всех, а себе не хватило. Августина опять слезла с печки и украла ещё одну оладушку. Вернулась мачеха, сразу всё увидела и выгнала её из дому.

Снова Августина шаркала сандалиями, на этот раз – в сельсовет к председателю, и наклепала на мачеху. Приступал на деревяшке председатель, и мачеха дала ему оладушку. И Августине с младшенькими дала по одной, а когда председатель убрался, оттаскала Августину за волосы, но из дому больше не выставляла...

... Однажды осенью председатель собрал всех в сельсовете и сказал, что фашисты пришли к Ладожскому озеру. Вскоре немцы заняли Алексеевку, а ночью мачеха спрятала последнюю муку в колодец, потому что вода в колодце пересохла и немцы туда не полезут.

Что вот-вот займут Харагиничи, говорило всё село, и бабы не стояли у заплотов, а прятали дочерей в погреба и на чердаки. Августина заодно со всеми спряталась под крышей амбара, просидела полдня, глядя в щёлку на дорогу, но никто так и не пришёл, она спустилась и пошла на улицу. С ребятишками убежала за огороды ждать и смотреть, как их будет порабощать фашистская Германия.

После обеда напоззли чёрные танки, сломали мостик через ручей. В огород к Евсеевым прилетел снаряд. Потом появились немецкие повозки и машины...

Немцы оказались такими же людьми, как и они, только с крестами на зелёных касках. Выучили несколько слов и долбят в каждую дверь:

– Матка! Открой!

Оцепили территорию и расстреляли председателя – он был русская свинья и коммунист и хотел умереть за глупую идею.

Приехал какой-то генерал и стал сомускать их сдать великому рейху. И они сдались, так как бабам нечем было защищаться, а председателя расстреляли.

Ближние пять деревень определили под командование немца Альберта, который днём вырезал для ребятишек свистульки из дерева, а вечером расстреливал за огородами пленных партизан. Он и Августине вырезал свистульку и сказал, чтоб она за ней пришла к нему в сельсовет, но мачеха идти не велела. Тогда Альберт увёл мачеху, потому что мачеха была красивой женщиной...

Бабы пугались немца, а ребяташки ходили за ним по пятам, смотрели на кожаные сапоги и белые зубы. Альберт, боров здоровенный, задерёт гимнастёрку:

– Рус! Рус!

Августина и другие ребяташки искали на нём вшей, но вшей не было, и Альберт смеялся. Он Августину больше к себе не приглашал, только зыкал ночью в окошко, и мачеха, плача, уходила со двора, а утром являлась и бездыханно лежала на кровати...

...Партизаны взорвали немецкий продуктовый состав. Утром немцы рыскали по домам, искали тушёнку, мёд и печенье. Перерыли всё и в доме у мачехи, залезли даже в погреб. Тогда немцы вскрыли амбарную дверь и сломали портрет матери, так как была уже зима, и паук спал где-то в своей норке. У старика Евсева нашли фирменную немецкую колбасу и пропоролы Евсеича штыком.

Вечером согнали всех стариков, даже тех, кто уж ходить не мог, на конный двор. Баб и ребяташек тоже собрали, чтобы они, увидев, как умирают советские люди, поняли всё и встали на сторону великого Гитлера.

Выстроили стариков вдоль стены и велели скинуть обувь. Старики скинули обувь и встали голыми ногами на снег.

Вышел Альберт и долго говорил, но его никто не слушал, а только делали вид. Тогда он махнул, и старики упали.

Из стариков кого убили, кого поувечили – всех в неглубокий ров спихнули. Бабы выли и долбили землю ломом, а Августина и другие ребяташки бросали мёрзлую глину на стариков.

Варька-Люпшиха родного деда, живого, зарывала. Бабы потом ввали, что дед Матвей будто бы говорил Варьке:

– Бросай, Варюха, не жале! Наши их до кишок этой землёй накормят!

...В марте, когда полетело с крыш серебро и Августина, почернев лицом, сосала в огороде холодную сосульку, пришли советские солдаты и погнали немцев.

Августина тоже взяла прутик и пошла выгонять немчуру, но мостик через ручей разрушили, а дальше Алексеевское, а собаки там хуже фашистов, и она вернулась ни с чем.

По дороге шли родные русские солдаты, и Августина отдала прутик доходяге в грязной шинели. Доходяга улыбнулся разбитым ртом и сказал, что теперь-то фашистам капут, и на прощанье потрепал Августину за плечико...

## 12

– Недавно читал в газете: все эти цифры, которых убитыми, – брехня! – сказал Чебун тяжело, едва старуха замялась со слезой на реснице. – И вряд ли, говорят, когда дознаются, сколь на самом деле, какая цифра...

– А что – какая? – не глядя на отца, тут же вскинулся Борька, и усы его шевельнулись вместе с нервно задравшейся верхней губой. – У нас население в Союзе до войны было? Сколько численностью то есть? Кто знает?

– Ну кто, кроме училки нашей?! – удивилась Мадеиха, уже выкручивая из копчёной курицы жирную ножку. – Рената Александровна, объясни этим недоучкам! Я бы раскинула на пальцах, да вот с этим страусом схлестнулась...

Учительница засмеялась.

– По данным переписи, на момент нападения на нашу страну фашистской Германии в Советском Союзе проживало...

– Хэ! Вот и ответ! – оглушив цифру, сказал Борька громко и победно. – Вот и считайте: почти на каждую семью похоронка, да не одна... То и выходит, что много.

– Ежу понятно, что много! – обозлился старший Чебун. – Это и через полвека вывалить всю правду на народ – как в кипятке обварить... Надорвётся народ, особенно душой болеющие, наших с Паловной годов. Чё мы знали? Да ни хрена мы не знали!

– Не сорвёт пупок, вы уж, папка, не переживайте! – Ларка мягко – будто погладить лысину – повела на свёкра рукой. – Ему теперь всё равно. Как у нас с перестройкой стали говорить? «Это ваши проблемы!» и «Мне эти часы не оплачиваются!».

– Э! Кому-то, значит, надо цифры сбивать?! Так, нет?!

Тамир замолчал, не встретив встречного напора, кроме кротких влажных глаз жены.

– С Западу ветер дует – считаю... – подытожил Чебун.

– Нет, я своим деточкам не раз и не два говорила: случится опять война, затоплю печь, все окна-двери затворю, потом закрою заслонку, чтоб всем разом угореть к чёрту! Никто не должен знать с моё – во вам слова!..

Старуха замолчала, оставаясь где-то там, не то в далёком прошлом, не то в тревожном настоящем, одна со своим горем, которое надломило, но не сломало её.

– После войны – голод... – снова зазвучал её окрепший в тишине голос. – Мачеха за год замантулила тысячу трудодней. Председатель все трудодни свёл в пользу государства... И люди мёрли, но не воз-му-ща-ались! Ели: крапиву, лебеду, прошлогоднюю картошку... Дрались из-за неё, как звери... Мололи на жерновах, камнями тёрли, пекли драники... Есть хозяйство хошь в две-три куры – пятьсот ичек в год государству. Корова есть – тышу литров молока. Даже дерево мало-мало плодяще в огороде – плати налог! Плюс холостяцкие гони... Во как!

– Правильно, подымали государство! А для кого? Для алкашей этих?! – Чебун строго посмотрел на Борьку.

– А мне мать кирзовые сапоги купила перед армией – счастье! – вспомнил Палыч. – До того босиком больше ходил... Зимой в лаптях с суконным голенищем, а весной ручьи бегут, а я наярываю босиком!

Старуха выкрикнула, чтоб вытянуть на себя внимание, сказать, чего ещё не сказала, но к чему была ступени:

– Но, может, главного-то и не видала! Всё хоронила, хоронила, хоронила... Мать до войны ишо, отца затем... Старшую сестру... Братишку Васечку из Вихоревки мёртвого в гробе привезла, за ним – Ивана... В шестьдесят девятом Карнакова, первого мужа своего... Потом Алёшень-ку-у!

Голос старухи дрогнул, но она стиснула зубы, разорвала рыдание на всхлипе.

– За Алёшенькой Полиночку-у! Спилась с этим змеем... Как говорила: не выходи, Поля, за него, нет на него надежи! А-а! Собралась и ушла. Я прихожу, Лида плачет: «Ма-ма! Полинка с Гришкой убежала!» Записку оставила, гадина... А теперь уж почти десять лет лежит... От старшего братишки – Фёдора – ни ответа, ни привета... Не знаю, жив ли, нет ли... Ему больше всех-всех досталось от этой войны! В танке горел, всё лицо обожжённое, контуженный... Нет, однако, в живых моего Фёдора, одна я из Гавриловских на белом свете...

Речь её становилась глуше, ибо какая-то внутренняя жила, давным-давно оборвавшаяся в ней, искала-искала старухино горло и вот нашла, засекалась петлей и не давала дышать.

– И вот сегодня встретились мы по грустному поводу... В апреле Колымеева увезли в больницу – приступ... Я уж думала, оставит меня Колымеев, а каково в старости одной-то? А! – отмахнула, будто досадную муху. – Налива-ай!

Одним из первых опомнился Борька и впечатлённо засмеялся:

– Ну ты, баб Гуть, даёшь! Мне даже как-то... не по себе.

Старуха пожала плечами:

– А чё? Пью – говорят и не пью – говорят, дак напьюся, свалюся – пу-у-скай говорят! Всё равно – говорят одно!

После первой разговелись.

Старик Чебун, усиленно работая желваками, всё поглядывал на Палыча, ловил каждое его движение, чтобы обнаружить поруху. Чебуна интересовало теперешнее положение соседа: жилец или уж нет?

– Как, Вовка? – Чебун энергично хрумкнул солёным огурцом. – Не скрипит ничего?

Пропустив рюмочку и теперь ожидая, как организм аукнется, Палыч тихо засмеялся:

– Больше рюмки, говорят, не подымай!

– Это брехня! А вот насчёт баб скажу: не занима-а-йся! Я вот тоже всё хочу от своих дармоедов отделиться, завести себе старушку. У меня же хата своя есть, двухкомнатная... Не говорил я тебе? На улице Партизан – Кузин дал из ветеранского фонда...

Старуха подняла на Чебуна голову.

– А они, – Чебун кивнул на сына с невесткой, – подселили в мою фатеру хорётских мужа с женой...

– Бать! – позвал Борька.

– Чего тебе?

– Завязывай.

Чебун показал на сына вилкой:

– Во, слова не дают сказать!

– Тебе не дашь, ага, – подковырнула старуха. – Замудохал своими речами...

Старик заткнулся, пошёл нанизывать на вилку звенья копчёной рыбы, пока Ларка не убрала тарелку.

– После первой и второй – промежутки небольшой! – Мадеиха лязгнула по тарелке. – Кто не пьёт, тот на хлеб мажет. Подняли посуду, кролики!

Татарин обошёл гостей с бутылкой.

– А эти кролики чё не пришли? – держа рюмку в больших пальцах, сказала Мадеиха. – Не помирились?

– Щас, ага! Буду перед ними, молодыми, унижаться!

– Нет, Гутя! – крупная, некрасивая Мадеиха поднялась из-за стола. – Можно я скажу?

– Говори! – заблестев глазами, сказала цыганка, уловив под скатёркой Борькину руку. – Скажи что-нибудь за жизнь, Галка!

Учительница поддержала:

– Галина Дмитриевна, мы вас внимательно слушаем!

– Давай скажи какую-нибудь сказку, – хокнул Чебун. – Ты их складывать мастерица...

Мадеиха утёрла тыльной стороной ладони толсто напмаженные губы.

– Тишина! Все закрыли хлебальники, лошадь не скачет и жук не летит! – Галка нашла взглядом глаза Палыча. – Дядя Володя! Дай тебе Бог здоровья, родной ты наш! Ты был в больнице, ты не знаешь... Но эти кролики... – Мадеиха снова указала на стену, но старуха запротестовала:

– Э нет! Угомонись, Галочка, Христа ра-а-ди! До того ли Колымееву? Из больницы человек...

– Нет, Гутя, дядя Володя должен знать! Эти кролики – это же... это же... – подбирала нужное слово. – Это же... Ну, ветерана войны-ы и тр-руда-а, больную, стар-рую женщину-у... заставить носить уголь в такую даль! Разве мо-ожно?!

– А ты что же не помогла?! – Чебун не морщась опрокинул стопарик в большой рот. – Говорить вы мастаки! Вам бы в телевизоре выступать...

Загомозился Борька, высвобождаясь из тайных объятий жены.

– Ты мне не тычь, я не Иван Кузьмич! Эта Гутя... Она в натуре Гутя! Что бы, я не знаю, поорать через забор! Мы бы с кроликом тут же пришли... Вот ты что не был?!

– А давайте, я вам татарскую песню спою про любовь?

– Советовали мне добрые люди обратиться куда надо. Да-а! Связываться...

– Правильно, тётя Гутя, говоришь, – осмелел и высказался Колька. Его никто не услышал, и Колька повернулся к Палычу, ища поддержки. – Она правильно говорит, дядя Володя! Тётя Гутя жизнь видела, она не станет...

– Понюхала жизнь и сзади и спереду – ёкко санай!

– Нет, баб Гутя, почему вы так рассуждаете?! – нахмурился Борька. – Это их обязанность...

– Дак разберутся в милиции, чё? – разговорилась бабка Саня, робко цепляя на вилку огуречные кружки. – На то они и власти...

– Они разберутся! Бурят, бурятки – взятки гладки! Ты ли, соседка, не помнишь, как они моих сыновьёв убивали?!

Ларка сверкнула на свёкра чёрными глазами, и Чебун послушно замолчал под этим властным змеиным взглядом.

– Не сунешься с деревянным рублём! – за всех и обо всём разом вздохнула учительница.

– «Нам русские глаза открыли, а мы им закроем!» – так они теперь говорят, не стесняются... Слышь, Паловна?!

– Бросят собаке булку хлеба – лежи-ит хлеб, собака не жрёт даже! – Старуха в упор не замечала Чебуна. – А у нас дядя в войну работал на мельнице, мы пыль сметали с полу да со стенок... Так с грязью и пекли...

– Э! Э! – заорал внезапно Тамир, сворачивая с бутылки жестяную пробку. Всё это время он молчал, сосредоточенный своей работой, и никого не слушал. – Тётя Гуть? Щас захожу к вам в ограду – да? А Упоров – э, слышь?! – говорит: «Ты к кому?» Я говорю: «Ну не к тебе же!» Э! Тётя Сань?! Так ведь было? Так?! Тамир врёт, нет?!

Саня от сумасшедшего рёва татарина вылила наполненную рюмку себе на кофту.

– Било, било! – с белорусским акцентом зашептала, втянув голову в плечи, словно прячась от штормовой волны.

– Мне бы угольник свой построить – вот печаль! – думала о своём старуха, по обыкновению не закусывая. – Да где доски возьмёшь?

– Я тебе дам! Вместе и построим. Мне должны несколько кубов привезти... Как ветерану войны!

– Кто тебе должен?

– Кузин сказал!

Прошелестел над столом смех.

– Это когда рак свистнет с горы! Рамы он тебе привёз вместо сгнивших?! Ну дак и сиди! Он своим детям домищи отгрохал, а нашему брату и гнилой доски не даст!

– Правда, правда! – согласно заговорили. – Нашим старикам только за деньги, и то – побегай!

– На гроб дадут три осколяпка – я так папке и говорю... Е!

– Ага, за свои тити-мити не хошь?! – Ларка щёлкнула над Мадеихой пальцами, намечая для всех смертных грядущие траты.

...Застолье раскололось. Колька Мадеев в одиночестве уснул за столом. Саня мелко-мелко, как белка, грызла хлеб. У стенки Рената Александровна изучала фотографии. Пьяный, с покрасневшей лысиной Чебун пальцем выводил по скатёрке:

– В огороде, Паловна... На хрен она вам сдалась, эта черёмуха?! Добро бы картошкой засадили, а так стоит без пользы... Я тебе помогу, построим!

Старуха, подперев голову кулачком, следила за пальцем Чебуна.

– Доски мне Кузин... Я завтра в администрацию пойду, скажу, что ты тоже ветеран войны! Хотя завтра суббота, баню буду топить... Приходите с Володькой в баню, а уж я в понедельник схожу...

– Да пошёл ты к чёрту, трепач! – изредка отзывалась старуха.

Но главное действие происходило в кухне. Туда незаметно для старухи перетащили из зала добрую треть стола. Сидели, выпивали, курили около печки.

– А Зою Космодемьянскую пытали?

– Э! Я сейчас книжку читаю – у Ренаты Александровны взял, – дак там по-другому описывается. Короче, так...

– Мать говорила, что в старом фильме показывали: на груди звезду вырезали... У живо-о-ой, не у мёртвой!

– Выжгли, по-моему...

– Я не знаю, но, в общем, угробили девку...

– У неё же брат был родной! Тоже Герой Советского Союза...

– А может, и не было никакой Зои Космодемьянской. Сейчас... не особенно...

– Была! – опрокинула табуретку Мадеиха. – Должна была быть, а то я у всех по глазу на анализ оторву, как Мадееву!

Потом взялись бороться на руках: кто кого. Выставили в центре кухни табуретку. По одну сторону табуретки, посмеиваясь, сели мужики. Цыганка закатала рукав и первой вышла отстаивать честь женской сборной.

– Плечом не наваливаться, только рукой! – загадочно предупредила Ларка, схватившись с Борькой. – А то я ночью на кого-то навалюсь!

Мадеиха с грустью смотрела, как сначала Борька, а потом и Тамир победили цыганку. Галка хотела наплевать Ларке в глаза, но передумала и наплевала себе в руку.

– Подходить в порядке живой очереди! – И перетянула своим рычагом сначала младшего Чебуна, а потом и Тамира. Мужики ушли к печке, чтобы прижечь табаком кровную обиду.

Тяжело отпыхиваясь, Мадеиха положила на колени вспухшие в жилах руки.

– Я – Поддубный! – объяснила свою силу.

Старуха, заглянув на громкие крики, согнала всех обратно в зал.

– Я всех кроликов сделала, дядя Володя, – похвасталась Мадеиха. – Восстановила историческую справедливость...

– Дак на справедливость одна надежда, Галка. Я тоже... со смертью в борьбе состою, тягаюсь с ней, куда силы имеются...

– А ты её вот так, дядя Володя. – Мадеиха показала рукой, как она переборола недавних соперников. – Но! Я так всегда делаю...

Ближе к полуночи ушли татары Хорунжии. Только за ними стукнулась дверь, как сидевший в уединённой задумчивости Чебун отставил налитую рюмку, стал рассказывать всем давно знакомую историю.

– Приходит этот ментяра Тамир! Так, мол, и так: помогите гараж построить. Ну, какой разговор?

Старик говорил спокойно, без нервов. Давняя обида за сыновей с годами улеглась, но совсем не ушла – слежалась, как в апреле снег за стайкой.

– Колька с Ванькой пошли. Неделю строили от зари дотемна! Такой гараж отгрохали! А он, гадина, водкой отделался. А водка-то оказалась палё-на-я!

Чебун назидательно поднял указательный палец.

– Её во время рейдов отбирали у торгашей, а не уничтожали – на свои нужды брали. Тайком, всё шито-крыто. Татарин им сам сказал. А эти дурачки поддали хорошенько да распустили языки: так, мол, и так, водка ментовская, нам её Тамир дал... Кор-р-рупция! – прокаркал старик страшное и непонятное слово.

– Бать, хватит! – попросил Борька, нервно копаясь в карманах в поисках сигарет. – Ты ни о чём другом поговорить не можешь?

– Молчи, щенок! – взревел Чебун и рванулся с места, опрокинув рюмку, стал ловить сына за горло.

– Эй! Дома вам мало? Пластаетесь так...

Лысина у старика побагровела, клочками пакли разметались недожатки волос.

– Я его задушу! Вот этими самыми руками задушу, гадюку!

– Выпей, дед, – посоветовала Мадеиха. – Где рюмка? Щас выпьешь, а потом я тебе расскажу за жили-были. Е?

Чебун выпил залпом.

– Ночью фары окошко обожгли... – снова поднялся его глухой голос. – Собака залаяла. Стук. Я открываю. Три легавых. Меня к стенке: уйди, старик, призьём! Ванька с Колькой пьяные на диване спали... За шкирку – и в узик. Я за ворота. А куда побежишь? К кому?

– Да, это так. Не к кому...

– Одинь заступникь нашъ – отець святой, – задрожала головой бабка Саня. – На него вся надежда, на самодержца небеснаго...

Не к месту заворочался Мадеев, зашептал пьяными губами.

– Уж рассвело, сию на кухне, места не нахожу. Вдруг слышу, как кто-то скребётся в дверь. Открываю: Колька. Весь в крови. Я к телефону, хотя понял уже – не жилец... Ну, скорее в сарай – за мотоциклом. Под мосток свели следы, а там – Ва-а-нька...

Чебун сдавил рукой большой лоб. Широко расставив локти, так и сидел, глядя в пустые тарелки.

– Из-за водки! – Мадеиха положила руку на сердце. – Нет, ну из-за водки?!

– Да не из-за водки! Языком не надо было трепать...

– Вот так и живи, озираясь...

– Без войны война! – осевшим голосом сказала старуха. – Умереть только достойно... А что сделаешь? Ничё ты, Ларочка, не сделаешь. А раз родилась – терпи. От мамки до ямки...

...Происходящее окольными путями доходило до Палыча. С отвычки он захмелел, одолев рюмку-вторую. И вот уже, как из другого мира, выплывали и настигали его разум дребезжащие голоса, среди которых он узнавал хриплый старухин и мягкий Санин:

На Муромской дорожке  
Стояли три сосны,  
Прощался со мной милый  
До будущей весны...

Вплетаясь в общий строй, на втором куплете зазвучал острый голос цыганки. И вскоре далеко укатилась песня, унесла старика в синие дали...

## 13

Ограда забрызгана тонким заревым светом, забыто горит над крыльцом лампочка. Ещё минута-другая – и умрёт стеклянный мотылёк ночи, замелькав электрическими крыльями, сгорит на костре светлого майского дня.

«Лучше умереть, чем на подсосе состоять у жизни!» – догадался старик о своём предназначении, расчувствовавшись: он первый нынче увидел утро.

Дремлют под горой деревянные птицы-дома, засмотревшись дюралевыми клювами желобов в ржавые бочки. В бочках в ладонь высотой холодная, от угольной сажи чёрная, как дёготь, вода: ночью снова перепал дождь. Палыч весело крикнул в бочку. Замер, ожидая, что вот-вот сорвутся деревянные птицы. Но птицы не зашумели крыльями, и старик успокоился. В воде ему померещилось лицо какой-то старухи, он качнул бочонок – и лицо исчезло.

– Прибластилось на вчерашнее.

Маруська греется на перильце, отражается в зелёном оке пятиконечная звезда солнечного луча.

– Маруська, Маруська! Исти хочешь, Маруська?

Кошка, мурлыча, выгнула хвост крючком и попросилась к хозяину на плечо, и он погладил её по искристой спине, а затем отворил дверь в дом.

– Иди, старуха что-то даст.

Несколько раз стукнул ногами в землю, утверждая себя на ней.

– Ничего, подходяще укрепился, – объявил результаты утреннего медосмотра.

Из рассеивающейся ненастной хмари выплыло степное небо. Загорался второй после больницы день. Только где-то на западе ещё торчал ватный клоч, будто зацепившись за отворённую дверцу чердака.

– Либо знак для меня?! – забеспокоился старик, сходил в огород и принёс старое удилице, которое висело на вбитых в стену дома гвоздях. – Дак мы выправим ситуацию, дадим должное направление полёту...

Снизу потыкал чердачную дверцу кончиком удилица, и облако понеслось дальше.

– Освободил небо – и то причина! Теперь ему что же остаётся? Только светить да радоваться...

С шумом расправляя сизые крылья, на крышу опустилась голубиная стая, пошла бродить по коньку, воркуя и переваливаясь с ноги на ногу, цепляясь острыми когтями за ветхое от времени и дождей дерево.

– Должно, какую-нибудь разрядку сверху принесли?

Розовогрудые вестовые не ответили. Потревоженные отрывистым стуком с гипсовой горы, они снялись с крыши и улетели на чердаки гудэповских гаражей.

– Нет, однако что, весточки для тебя, Колымеев. Живи так – на дармовщинку...

В огороде Упоровых взмыл к небу дымок; поджарый сосед-бурят встацил на печь закопчённое полубочье, с пустым ведром, которым носил в полубочье дождевую воду, пошёл в дом, зябко кутаясь в лёгенький для весеннего утра пиджачок.

– О, дядя Володя!

– Здорово, Алдар! – жал руку Палыч. – Всё в заботах?

– А как больше, дядя Володя? Поросям жрать надо, коровам, курам надо, собака тоже исти просит... Даже мне надо, дядя Володя! – засмеялся круглым лицом. – Вот и завёл бардумагу...

– Надо, надо. Тоже пойду щас... займусь чем-нибудь... Калитку подправлю либо другое чё...

Он поймал себя на мысли, что минуту назад так не думал. Действительно, взять и починить забор, залатать ведро, выбросить из парника землю и заложить перегной; устав, сесть на чурбак под черёмухой и подумать о чём-нибудь давнем, от чего тепло на душе и немного кружится голова, как от выкуренной натошак махорки...

– Сесть, пока моя не видит... Давай сядем, дядя Володя.

Катая пальцем по колену катышек приставшей грязи, Алдар пожаловался:

– Устал, дядя Володя! Как ишак... Нет, здоровье есть, а... Руки опускаются. Веришь – чай заварить для себя лень!

Старик понял, тайком от старухи – в рукаве – вынес недопитую вчерашнюю чекушку.

– На-ка, Алдар, прими! Первое – ёкко санай! – средство!

Выпили из горлышка. Последним, жадно глотая прозрачные брызги, приложился старик.

– Дай-ка, дядя Володя. Пару раз... Как ты это говоришь? Ёкко санай?! Это бурятское выражение? Не слышал никогда...

Старик протянул струящийся дымом мундштук с вставленной сигаретой.

– Дерьмо табак этот покупной! Свой буду садить нынче...

– Но. Язык щиплет... Выписался, дядя Володя? – И, возвращая мундштук, Алдар подытожил: – Молодец!

Из дому, разматывая резиновый шланг, вышла Тамара – костистая, белая, как снег, остриженная коротко, в больших, с толстыми стёклами очках.

– Здравствуйте, Владимир Павлович! – Тамара не удивилась Колымееву. – Я думала, ты включил воду... Напоминать надо?! – Это Тамара добавила уже для мужа.

Ко всем людям на свете чувствовал разное старик, но к Тамаре Упоровой не лежала душа. Уж на что характерной была его старуха, а она не обнесла бы его чекушкой в святые праздники, как делала жена Алдара. Оттого и высох бурят, что на воробьиных правах обитал в доме, разве урвёт украдкой, как сегодня вот, а больше-то и не было удачи в его судьбе.

«Какая это жизнь? Волком завоешь...» – сопереживал старик; из огорода донёлся недовольный голос:

– И печь прогорела! – Тамара, подобрав у коленок халат, раскорячилась перед печкой и вздувала прогоревшие угли, пихала щепу. – Сиди-ит...

Алдар – тише воды.

– Пойду, дядя Володя...

На крыльцо, с силой распахнув двери, вывалилась старуха – в галошах на тёплый зимний чулок, в штормовке и в шерстяном платке. Оценила обстановку, о которой ей просигнализировала чекушка, но смолчала: чекушка была истреблённой и на вред неспособной. Долго возилась у двери, открывая ржавый замок; вышла с граблями и вилами в руках.

– Пойду на большой огород. Лыч-то с осени не сожгли! Пахать не сёдня завтра... А ты пока замок смажь, чё-то плохо открываться стал... Да, всё рушится к чёрту!

– Смажу сейчас, – руководствуясь старухиной установкой, соскочил Палыч. – Не сырой он, лыч-то? Дождь ведь, Гутя, пробрызгивал?

– Небось не намочило... не знаю... – засомневалась Августина Павловна, опустила закинутые на плечо вилы. – А когда потом? Завтра воскресенье. Опять же, Ларка вчера говорила, что Колька Засецкий пахать им будет...

С ведром свинячьей болтушки качнула бёдрами Тамара. Храня гробовое молчание, Августина Павловна проводила молодую соседку презрением.

– Гляньте на неё, нашкандырку! Норку задирает выше вровень, а сама гвоздя не толще!

Больше всего на свете, больше старика Чебуна и фашистов не переваривала старуха Колымеева гонористую Тамару, которая кидала костяшки счётов в местном казначействе. За пару лет упорного сидения в конторке Тамара накидала этих костяшек кубометра три-четыре, само собой, в свою пользу. На старую ещё квартиру под покровом ночи свезла на машине хитро списанную добротную мебель, определила на вечное стояние. За мебелью ушли два рулона линолеума, которым «все полы в доме закрыли, теперь не дует с щелей!» – да несколько байковых одеялец. Канул бы, наверное, и финский шкаф – стоял такой жёлтенький в кассовом отделе, – если бы в жизни Тамары не установился антициклон, не подул в сторону каталажки попутный ветер. Её попросили; она вышла замуж, охомутив и подмяв под себя Алдара, сменила фамилию и несколько мест работы, попутно прогорела в двух местах, но наконец ткнулась в заветную бухту и вот уже лет десять прохлаждалась в коммунальном хозяйстве, в отделе расходов. По подсчётам баб, плохо разбиравшихся в дебетах и кредитах, Упорова наэкономила за десятилетие, без отпусков, присутствия в комхозе на сытую старость себе и детям. Насколько верны были слухи, старуха не знала, от разговоров на эту шепетильную тему воздерживалась, но мысль при себе имела.

Раз, по весне, кандыбая с банкой солёных огурцов из подвала, старуха мимоходом зыркнула на упоровскую кладовку, отворённую настежь, и сквозь дверной проём узрела на гвозде связку туалетной бумаги, рулонов тридцать-сорок. Право называть соседей кулаками возымела позже, когда Тамара втридорога загнала приезжим ведро пожелтевших сливок и нутряное сви-

ное сало, с которого непосредственно перед продажей соскоблила ножом зелёную накипь плесени.

– Сливки копила, копила... Ну, скопила – даже свиньи жрать не стали! – наблюдала старуха в окно, как с первыми тёплыми деньками Упоровы вскрывают закрома и выволакивают кастрюли с задубевшими сливками и в катышки свалевшимся творогом. – Куда коробчить было?! И всё на замках, даже баня! Думают, украдут у них!

За несвежие сливки и сало Тамара выторговала две пары добротных унтов, чем повергла в уныние старуху Колымееву, которая социалистически переживала:

– Ходить, щеголять будет по посёлку! Как же, воздержится! Один день в лисьих, на другой собачьи оденет! Хоть бы уж кто сдёрнул с неё!

Вослед молочной продукции на торг стали уходить другие продукты животноводства. Тогда-то Августина Павловна и определила международную политику:

– Кулачье нещасно!

Барыш был очевиден всем, в первую голову старухе и самой Тамаре. На вырученные тити-мити Упоровы справили грузовуху, и комхозовским работником была разработана экономическая хитрость, благодаря которой затраты должны были окупиться малой кровью. В качестве предупредительной меры Тамара запретила мужу курить, пиво после бани, а водку в праздник... Старуха возрадовалась:

– Так тебе и надо, бздуну проклятому! На двух работах ишачишь, а копейки в праздник не видишь!

Впрочем, Алдар скоро освоился в подневольной жизни. Не раз, пока бдительное око супруги рылось в приходно-расходных документах, тыкался Алдар то к старику Колымееву за куревом, то к старухе налить рюмку-другую. Колымеевы до поры выручали, но как скоро Тамара повела против них империалистическую войну, последние раскрытые для бурята двери захлопнулись. В довесок ко всему Тамара (не без подачи Августины Павловны) узнала о позорных мыканьях мужа, и за стайками меж ними состоялся деловой разговор. Об итогах проведённого бухгалтером выездного собрания старуха Колымеева догадалась, обнаружив посреди ограды четырёхколёсную гробину, загородившую подъезд для ссыпки угля...

Сейчас, увидев Тамару, рассердилась старуха, словно майский свет потух для неё. Сколько крови испортили ей Упорова и эта машина, знали только Создатель да привозивший уголь бульдозерист.

– Лучше бы гадюка проползла, чем ты, сука, мимо прошла! Ишь как скоробило! Ну ничё, это ишо соцветие, а ягодки будут потом!

Завязав платок потуже, Августина Павловна поплелась под гору, а старик пошёл в сарай за бутылочкой машинного масла, стоявшей там лет двадцать. Рядом с бутылочкой он обнаружил дюралевые пластинки, вырезанные полукругом: ранней весной мастерил рамку под фотографию на своё будущее надгробие.

– Нынче Колымеев совсем другой стал! – удовлетворился Палыч, вертя пластинки в корявых руках: уж почти готова рамка, только подпилить углы да сточить напильником...

Ему пришла в голову мысль, он взял лопату-ведро и торопко, спеша обогнать волнение от мелькнувшей догадки, посеменял в огород.

## 14

Отворив калитку, Палыч стоял без движения, соизмеряя пришедшую на ум идею с будущей жизнью. Опробовал рукой лезвие лопаты и потащился под гору, куда ушла старуха.

– А старуха... она поймёт! – полез через захлестнувшую переулочок сухую полынь, оглядываясь на огород, где раскинулся под зальными окошками густой куст черёмухи. – Не без разуменья баба у тебя, Колымеев!

...И полуметра в рост не был черёмуховый саженец, когда он заметил его, возвращаясь из соседних Хорёт, куда его таскало по старой памяти к знакомой разведёнке... Ушёл на рассвете, погладив на прощанье сонную ночнушку с тяжёлым бременем крепких грудей. Пыллил прибитой росой утренней пылью, зарился на зарившееся в степи солнце, смолил без усталости да лучил влажные глаза, настраивая их на чистый лад скорой встречи с Августиной. На своротке в посёлок заметил: стоит середь степи, покачивается не от ветра, а от слабости жизни. Круг-другой сделал, а потом срезал вместе с дёрном, примостил в ковш и так, выпятив железную горсть, катил до рудника, пел невесёлые песни, прощаясь с вольной жизнью. Подрагивала в ковше смуглянка, как будто спрашивая: «Куда ты меня везёшь?» – а он гнал да гнал, чтобы раньше петухов и Чебуна поспеть в посёлок. С заднего двора подкрался, как вор, в старой шайке приволок саженец и высадил рядом с домом. Орудовал скоро, не дожидаясь, когда Августина проснётся, плеснул на смуглянку ведро воды из бочки и бегом на работу...

Утром Августина, вынося через огород помои, заметила сиротливо притулившуюся черёмушку и сразу догадалась, чьих рук это дело. Она ждала Колымеева и к обеду, и к ужину, выбегала на каждый машинный гудок за ворота. Намекала Саня, посмотрел при встрече Чебун, да не верила Августина, чтобы повадился на старое Колымеев. Но мысль не стреножишь, и мелко подрагивали щёки у Августины, когда, не зажигая света, сидела до полночи у незанавешенного окна.

Однажды осенью Августина понесла в огород одеяла, чтобы выветрить и просушить на прощальном солнце, и случайно наступила на черёмуховый стебелёк. Смуглянка хрустнула и накренилась, лопнула в переломленном месте нежная кожа...

– Оклемается – её удача, а нет, дак не велика барышня!

Однако хрупкий заморыш не только выжил, но и вымахал в стройный куст, зелёными ветвями подпёр крышу, перерос её до самой трубы. К сроку завязывались белым кружевом упругие ветки, в конце мая распускали в коричнево-красных прожилках зелёные листья, а к середине августа выметывали чёрные горсти и, как тушью облитые, в осеннем горестном дожде без ветра жались к окошку...

Нынче зимой Колымеев лежал в спальне ни живой ни мёртвый с похмелья. Душа его отрывалась от тела и, заглянув в сенцах за дверной наличник, стремилась за чекушкой.

– Слышь-ка, Колымеев? – позвала старуха, сидя у окна. – Либо пробка ухо забила?!

В кишках у старика завозился дрожащий червь.

– Не слышу! – слабо отозвался Колымеев, когда старуха повысила голос так, что не слышать её стало неприлично.

Зацепилась Августина Павловна, подвела крючок под губу и радовалась улову.

– Иди-ка сюда, дорогой товарищ!

Палыч завздыхал, захватался за сердце, безуспешно ища под кроватью стоявшие у порожка тапочки, чтобы продлить своё существование.

– Звала, Гутя? – в байковой рубахе до колен выволокся из спальни. – Либо, верно, пробка в ухе застряла и я не ту волну словил?

На шарканье топалок обратились толстые линзы старухиных очков.

– Сотку ты грабанул из сумочки, Володя? – вкрадчиво спросила Августина Павловна, и так же мягко Палыч соврал:

– Не, Гутя, не я!

– Мадеиха утащила! – Только из жалости к его немощи старуха приняла слова Колымеева на веру. – А приходила звонить...

Всё-таки его настигло отмщение:

– Черёмуху надо спилить!

– Зачем, Гутя?

– Все рамы сгнили у окошек! Глянь, ветви чуть не в дом лезут. Как дождь, так все рамы в воде... Так и стена порушится! У Сани, вспомни, было в одном годе...

– До лета ещё, как до Москвы раком!

– Не развалишься, щас спишишь если... Пить, дак он первый!

Он утопал валенками в январском снегу, ширкая пилой по мёрзлому дереву, которое вспухало под металлическими зубцами затаённой весенней пряностью.

– Взбрeдёт же в голову! – От волнения пот выступил на лбу, но старик не прекращал работу, проникаясь ею с разрушающим жизнь остервенением. – И всё, главное, мне назло делается! Соберусь да уеду в Хотхор, в дом престарелых...

Дрогнув на прощанье вершинкой, первый из трёх черёмуховых отростков рухнул в сугроб. Палыч, не отдыхая, чтоб не разнежить души, подступился ко второму – и вторая ветвь, хватая воздух ветками, полетела в окно, едва не выставив стёкла.

– Осторожней, чёрт криворукий! – забрызгивая стёкла слюной, зашла в крике старуха, а когда старик сунулся к последней ветви, зыкнула в стекло: – Эту не пили, Колымеев! Обтеши топором, высохнет к весне – тогда уж...

Старик с боков подтесал черёмуху, ломкие чёрные щепки упали из-под лезвия... Неужто на его век не хватило бы рам?

– Вот и хорошо, – без уверенности в своих словах рассуждала Августина Павловна, когда старик стаскивал с опухающих ног валенки. – Сразу светлее стало. Правда?

Не отвечая, Палыч направился к трюмо, где в ящичке, среди отвёрток, шурупов и молотков, хранились в непечатом пузырьке сердечные капли.

## 15

Ведёрко красной рассыпчатой глины принёс Палыч из-под горы, аж тонкая дужка врезалась в одубевшие пальцы. Пеньки ещё не успели почернеть, а подтёсанная с боков ветвь ещё не умерла. Палыч осмотрел зимние зарубки: вполне излечима болячка. Промедли он неделю-другую, и было бы поздно, а нынче майское солнце да нутряные соки земли сделают своё, раз уж выскребли его, старика, с того света. Не давая себе отдохнуть, он набрал из-под крана ведро воды и в старом битом тазу стал месить глину.

Старик ещё не утвердился в своём решении и не понимал, важно ли для него затеянное. Он то присаживался на завалинку и торчал без дела, то с жаром кидался на работу, а когда развоевался, то уже не осталось в нём сил гадать да выгадывать. Руки его теперь существовали точно отдельно от головы; мысль ещё не родилась, а старик уже гомозился, предвосхищая её. Они, эти руки, точно пресытившись бездействием головы, которая всеми думками настроилась к пропасти, как будто сами пытались найти выход к жизни, затерянной для старика в дурнине судьбы, как тропинка в будыле за стайками. И выход был вот здесь, в этой работе, и суть его была в беспрепятственном благодатном движении вперёд.

Вот-вот вернётся старуха, восстанет над его подступах к жизни и свету! Замесив раствор, он устремился в кладовку, выбрал два почиканных мышами капроновых мешка и разрезал на длинные широкие полоски, а после, от усердия запрокинув голову так, что упала кепка, стал обмётывать глиной срезы на боках черёмухи.

Вот он нанёс раствор; долго и тщательно, как в больнице ему обматывали бинтами опухшую, специальными мазями намазёканную ногу, обкрутил покалеченный ствол мешковиной. Замазка из-под швов текла по стволу, капала на галоши, а Палыч жалел о каждой капле, точно это было бог весть какое чудодейственное зелье. Убедившись, что всё крепко, он из ведра полил черёмуху остатками воды и замер, ожидая, что будет в следующий миг, как примет старания старика красный конь его жизни. Он как-то сразу выдохся, как будто кто-то всё это

время насильно удерживал в нём воздух, но отступился от старика, и тот неистовый запал, что в нём горел, притух и лишь чадил горьким: для чего, для кого всё это?..

Корявая ветвь безобразной тычиной торчала из общего корневища, но черёмуха была спасена. За гипсовую гору, за отступившую смерть вслух бросил Колымеев, итожа наполовину израсходованный первый день дарёной жизни:

– Будем жить! Никуда мы, Колымеев, с тобой не денемся! Есть повод, значит. А повод – что? Та же упряжь у коня... А в России дерево посадить труднее, чем поднять человека... – Любимая мысль Колымеева. Как рыжик в бору светлым сентябрьским утром, он нашёл её однажды в озарённом печалью сердце и с тех пор нежно хранил – как лыковое лукошко бережёт грибной аромат. – Людей много, а лес один... Но детей-то зачинают и по пьяному делу, и от бесхозяйства в душе... А сколь мы знаем случаев, когда деревья садились по пьянке или от бесхозяйства?! Нет, было, конечно, что подсадил черёмуху в этом состоянии, но ведь это... как бы сказать... пьяная моча ударила по мозгам...

Не успел дух перевести, как из-за горы напозла старуха, с раздражением воткнула вилы в твёрдую, ещё и в пол-ладони не оттаявшую землю. Она не искала сострадания, утираясь рукавом и с тоской посматривая на уголь, который был похож на чёрную, загадочной рыбой вымётанную икру, ибо знала, что это никакая не рыба, а она ведром натаскала, добывая себе надсаду...

– Ничего, кажись, не делала, а устала хуже некуда! А хотя теперь от любой мало-мальской работы болячка... – От старухи крепко пахло дымом сожжённой картофельной ботвы. – Пока живёшь – всё надо, а сгинеешь – четыре доски, два метра земли! Как считаешь, Колымеев?

– Того же курса придерживаюсь, Гутя. Приняли за нас решение в главном правлении...

– Пошёл собирать! Я дак серьёзно...

Во вторник намечался родительский день, и мысли об этом обуревали старуху. Нынче она загадала съездить в Нукуты, покрасить оградки да убрать могилки. Кладбище стояло на горе; в прошлый родительский день прошли дожди, развезло дорогу, Вадим Шаповалов побуксовал на своей машинёшке да и укатили ни с чем. Поминали со стариком дома, а и дома исклевала душу горем. Оно не уходило, это горе, жило совместной со старухой жизнью, в которой уж не властвовала Августина Павловна, как в жизни с Колымеевым, а сама обреталась на птичьих правах. Это горе было словно песок в старинных часах: весь год утекало старухе в сердце, наливалось материнской обидой, бабьей болью, но вот переполняло красный сосуд – и время для старухи останавливалось. Для жизни тогда требовались дни, а то недели, чтоб в неустанном копошеньё по хозяйству опрокинуть переполненную колбу да растрясти горестный песок, пока он не утечёт в ноги, в руки, которые можно измочалить работой и заставить замолчать – но дать ли заделёе сердцу и душе?..

На пальцах старуха завела невесёлую арифметику, с которой начинала и заканчивала почти каждый день, как пережила мужа и Алёшу с Полиной.

– В этом годе Карнакову будет... Сколь ему будет? Считай, в шестьдесят девятом... Это сколько, Володя?

– В шестьдесят девятом?

– Но.

– Так, в шестьдесят девятом... Тридцать один... тридцать три года в этом году будет Михаилу!

– Тридцать три года лежит в земле, сердешный! Алёша через четыре года убился... Он, стало быть, тридцать шесть лет уже лежит...

– С чего тридцать шесть-то?

– А сколь?

– Тридцать один только!

– А почему у меня тридцать шесть вышло? – недоумевала старуха, прижав руки к груди.

– Дак ты в обратную сторону считала!

Отцветал майский день, но Палычу было не жаль его, ибо вослед ему должны были прийти другие дни. К вечеру воздух налился весенней синевой, с неба било молодым светом, золотыми крыльями полоскало крыши. Подувало ветром, в тихом шелесте дрожали у забора ветки малины и смородины, а за уборной жадно шептали тонкие прутья будылы. После длительного больничного удушья так чисто и свежо дышалось на земле, словно кто-то не выдержал и выставил главные окна прямо в небо, и оттуда, из глубины темноты, хлынула живительная кислородная лавина, заполняя всё поднебесное пространство...

– Болел, системы ставили, втравливали жизнь, то-другое, – осмысливал своё положение старик. – Я уж думал, скоро запущусь в небо, как спутник, буду там мигать старухам по ночам, чтоб не зарывались, не лезли на рожон...

– Дак ворчи больше, – без понятия отзывалась старуха. – Давай возмущайся, быстро своротку сделают на старое...

Колымеев не соглашался:

– Не, Гутя, дело решённое! Я у них для какой-то цели назначен главным бессмертным на земле...

– Кощеём?!

– Но!

– Ну да это, слушай, хорошо, Володя!

Дом стоял на бугре, и было видно, как в огородах готовились к пахоте, сжигали кучи сухой, от лёгкого нажимавил лопавшейся ботвы, развешивали бельё... Из ограды Хорунжиев доносился рёв татарина, который купил мотоблок и вершил на своей земле немудрёные крестьянские дела. Что есть у человека своя земля, чувствовал всем сердцем Палыч. Над заборами поднимались вверх белые лебеди и уплывали в синюю даль – умирать. Но когда небесная синева слизывала остатки дыма, старик не расстраивался: сам он бесследно рассеяться не мог, недавно бывший таким же бестелесным лебедем, который дожидался последнего ветра...

Палыч насмелел и, думая обрадовать старуху, сказал с твёрдостью:

– Я ведь не дым, Гутя! Меня не так просто рассеять нынче! Раньше – да, другой разговор. Хоть вчерашнее утро возьми! А сейчас – баста! Прикрыли заслонку...

– Кури – чё? – не оценила порыва Августина Павловна. – Хочешь – кури, вот тебе и дым...

## 16

Каждую субботу Колымеевы ходили к Чебуновым в баню. Мылись после всех, случалось – задерживались за выпивкой...

– Чебуны дважды уже звонили! – из сенцев буркнула старуха. Затушив самокрутку, старик поковылял в дом за бельём.

Своей бани у Палыча не было. Кантовались с Августиной в крохотной избёнке, с оградой не оградой, но участочком земли вокруг дома – хотел рубить баню, со дня на день собирался, брус уже приобрёл. Но редакция отвалила Августине двушку с такой же маленькой оградишкой, уже на две семьи. Зато был огород, плавниками заборов уплывавший под гору. Огород сразу глянулся старику как место для постройки. Брус в скором порядке был доставлен на новое место, где и сопреп под снегом и дождём, а частью ушёл на мелкие нужды, потому что ни к чему стала баня: и лет Палычу сделалось больше, и здоровье с переездом порушилось, апрельский инфаркт – второй на его счётах...

– Скочевали в эту квартиру – Колымеев как гвоздь проглотил! – жалилась встречным-поперечным Августина Павловна. – И я сама не своя стала... Чёрт копнул меня переехать в эту хату, будь она трижды проклята!..

Пожалуй, из всего, что старик Колымеев мог сотворить собственными руками – а умел многое! – только баню не довелось сложить. Летом они ходили мыться к соседям – разопреть в пару, постегать друг друга веничком по пояснице – болячки замазать, но зимой чаще мылись в цинковой ванне, поливая друг другу из ковша.

\* \* \*

...Баня была яростная.

Восседая на горячем полке, где, опасаясь за сердце, давненько уже не мылся, Палыч бил себя веником по всем направлениям, так что доставалось жару передам и тылам. Мокрые скукоженные листья сорились кругом, как в берёзовой роще в октябре. Сухой белый пар мял дряблое тело, и оно блаженно отзывалось на едкие покусывания тончайших жал. Сидел, как греческий бог меж облаков. Ухал, оплывая солёным, разъедающим глаза потом. Гнал из себя всю хворь, грязь и камфорную вонь больницы, ладил душу и тело.

– Шух! Шух! – пел хрипатый веник, пока не превратился в обглоданный голик: ломал Чебун берёзы после Петрова дня, а такие веники быстро роняют лист.

– Ух! Ух! – сбивался в уголок рта язык.

Вторая венику и старику, вскурилась под потолок каменка, когда Палыч опрокинул на неё ковш холодной воды:

– Пшу-у-у-у!..

Скулила где-то внизу, в адище тумана, старуха, нытьём поганя общую песню:

– Давай-давай, Колымеев! Смертушки моей захотел? Так вот она, у печки лежит! Кинь ишо угля да плесни на каменку – я и готовая буду...

– Ух! Ух!

– Я щас дверь распахну! – грозила старуха и макала голову в тазик с водой. – Ты у меня в миг охолонишься! Что тебе Алганаев говорил, как тебя, дурака, наставлял?!

– Пшу-у-у-у! – напоследок блаженно вздохнула каменка...

На лавочке под окном веранды их стерёт Чебун.

– Заходите, выпьем по одной. – Глаза его были соловы. – После бани, кажись, сам Бог велел.

– А чего ты? Разгулялся-то? – недовольно спросила старуха.

Чебун стукнул себя кулаком в грудь, где, по его представлениям, должны были висеть ордена.

– Триста рублей дал же мне Кузин к Девятому маю – как участнику войны!

Зря стучал Чебун – консервной крышки на груди не видал, не то что ордена, ибо ни на какой войне не был, а только что, верно, в послевоенное время ел в Монголии сусликов. Все знали об этом, но Чебунов уверял, что воевал.

– Молодец – чё? Он хорошо заботится о стариках... – И не стерпела старуха: – Калинину машину обязался выдать к празднику...

– Неужто? – усомнился Чебун.

– Не знаю – дал, нет ли. Врать не буду. Но говорил! Так, мол, и так: будет тебе, дед, машина. Он ведь, Калинин-то, повоевал... И ранения, и ордена, и прочее. Идёт на Девятое мая – любо-дорого взглянуть: весь при параде...

Чебун быстро соскочил, словно сел на шило.

– Пошли, пока Борька с Ларкой не припёрлись. Они, твари, только на всё готовое! Пока жив дед...

– Поменяй слова в песенке, а то эти приелись! – Старуха с трудом сдерживалась, чтобы не вывалить в глаза зарвавшемуся соседу правду о его героическом прошлом. – Пошли, Володя, а то опять скажет: «В баню ходят, а чтобы хоть раз зайти!»

– Да что ты уж так, Гутя? – обиделся Чебун. – Когда кто тебе говорил?! Мойтесь на здоровье! Жалко, что ли?

– Зна-аю, да связываться не хочу!

...Вскоре пришли от Чебуна, да не то слово – прилетели! Старуха едва не до погибели расплевалась с красноносим, чуть разговор коснулся угольника. Что мёрзлое железо губами хватил – сболтнул вчера о своей помощи Чебун: без крови не разойтись. И когда он повернул пятки, Колымеева не стерпела:

– Гриб поганый! Да что бы ишо...

– А хотели на дармовщинку! – орал Чебун. – И молоко, и доски?! Вот вам!

– Себе возьми! – с растрёпанными мокрыми волосами и багровым лицом налетала старуха. – Тьфу, сволочь!

До самых ворот Августина Павловна переваривала событие.

– Надо было всё ж таки разодраться! А этот, – шептала в спину Колымееву, – размазня! Чтобы хоть слово молвить в защиту старухи?! Нет, сел и молчи-ит...

...Лежали на своих кроватях: спали давно врозь, чтобы не мешать друг другу. Отпыхивались не то после банного пару, не то после дебатов с Чебуном. Старухе не терпелось обсудить с Колымеевым совместные действия на вновь открывшемся фронте, а тот, наухавшись в бане, ни слова не проронил. Она бросила заветный козырь:

– Купить, Колымеев, чекушку?

Старик ответил хриплым свистом полураскрытого рта...

«Эх, жизнь! Однако подвал я ещё поправлю...» – В мелких заботушках шебаршился остаток дня старик и неизвестно чему улыбался, вызывая вздохи Августины Павловны, которая в молчании возлежала на диване и отслеживала перемещение Колымеева по квартире.

– Мула чокнутый! – Губы вскипели от обиды. – Чурбан бессловесный! Хоть бы башку себе о косяк расколол, шатаешься зад-перёд! Только и можешь...

Потемну забрела Мадеиха. Припухшая, долго наблюдала за стариком и старухой.

– Нынче с Мадеевым... – ёрзала в жалобно скрипящем кресле. – Тук-тук! Кто в доме есть?! Сёдни хоронили одного еврея, дак две гармошки порвали...

Только радио шепелявило в кухоньке да за стенкой стучали молотком, с позвоноком стёкол выставляя вторые рамы. Отступая от греха, бормотала в сенцах Мадеиха, ворочая тяжёлым языком:

– Сектантское общество! Один ходит, как... кот учёный, другая молится ничком... Бежать, а то заставят ноги мыть!

## Заделье. Повесть вторая

### 1

Дождь чиркнул по стёклам на стрелке весны и лета, зазвонил в колокольцы поставленных под желоба тазов и вёдер. Однако никакая посуда не могла удержать небесную мокреть. Раскисла земля, свинными мордами зачавкала под сапогами. В короткие минуты распогодья стояло над степью прелое марево. Но снова мелькали иглы, пришивая туман к земле. Слизывая корабли берёзовой щепы, заворочались по посёлку шоколадные языки. Громкая кипящая лава, летя под гору, падала в речонку. Шесть дней нарывала речонка, а на седьмой вспухла, ловчим арканом захлестнула луга. На рукотворном море вздыбили шлюзы, стравливая излишки воды. Взбешённый до пены вал настиг речонку, ордой ворогов рассыпался по степи, и если бы не она, пожравшая слив в немереных просторах, не устоять бы посёлку на горе, а так лишь крайние дворы шаркнуло по изгородям...

Вместе с пришлой водой забурилась в речонке дармовая рыба.

Сковородовые лещи, тупые от тяжести караси и сонные сомы забились в реке. Русла ей уже не хватало. Рыба пошла в степь, где её поджидали. Но столпотворение началось, когда перекрыли шлюзы и вода так же быстро покатила из степи. А рыба оставалась. Тут не до бредней и сетей – рыбу били палками, кололи столовыми вилками, примотанными к черенкам...

Сибирь! Сибирь!

Равнодушным оставался один старик Колымеев. Как ни в чём не бывало он сидел на крыльце, наблюдая, как стремительно набегают чёрной водой подставленные под жёлоб чепарухи. Заточённый в четырех стенах, старик не маялся от скуки, без дела находя себе заделье: правил куском точила затупленные без присмотра топоры-ножи, на чурочке обстукивал молотком гнутые гвозди, до которых раньше не доходили руки, долго и кропотливо расфасовывал по размеру в отдельные баночки, прибранные старухой под рассаду. За нехитрой работой пробегали дни унылой мороси, и гудрон осаженных крыш, клокодавший в вёдрах, заметно посветлел...

– Это на сто пятьдесят... Где у нас, Владимир Павлович, на сто пятьдесят?!

В перерывах между войной с водной стихией притуливалась на скамеечку старуха. Думки её были известные: стенка подвала скопсилась, вода просочилась в яму, залила морковь и свёклу, которые хранились в ящиках под лестницей. На стайке лежали куски кровельного железа, можно было бы согнуть жёлоб, навесить на кладовку, отвести напасть. Утром, позавтракав, старик без слова уходил на улицу и торчал там до вечера, а ей одной света белого не было видно.

Вошкотно было со стариком, а тут ещё шелудивая кошонка хлестнулась с упоровским котом, приобретённым Тамарой во вред старухиному огородному хозяйству. Бинтовали на колымеевской стайке, а старуха караулила внизу, пыталась карабкаться по лестнице на чердак: хуже смерти не хотела родниться с экономическим работником. В страхе убиться киськала Маруську, но проклятая не шла. Августина Павловна, задрала голову, пробуждала в ней сознание:

– Он тебя изнахратит, наглючий такой, ты, гадина, домой прибежишь пузата! Как швырну с крыльца!

Даром пострадав, старуха отступалась, но только для того, чтобы набрать с грядок мокрой земли. Пуляла ею на чердак, мысля привести отступницу к травме. Тогда упоровский кот,

руководствуясь природным инстинктом, увёл невесту на свой законный чердак. На баньчонке, гори она синим пламенем, загудела свадьба. Старуха прохаживалась вдоль пограничного штакетника, заложив руки за спину.

– Емелькина семейка! А-а, соберётся да уехать к Хозеихе в Улан-Удэ! Либо в Бохан податься?..

Впрочем, и старуха не сидела сиднем, а, как раньше, неустанно копошилась в заботушках. С первыми погожими деньками побелила стены и потолки, отстиралась до снежной белизны в доме, протёрла в зале и в прихожке зеркала, разобрала, погладила и по новой сложила два комплекта одежды – своей и Колымеева, приготовленной на чёрный день, через не могу направляла на стол и звала Колымеева вечерять, а сама, лёжа на кровати, прикусывала чёрствую ладонь, чтобы старик не услышал её слёз.

– Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! – билось не то в груди у старухи, не то старик мелко сеял молоточком...

Вечером того дня, когда прошёл слух о рыбном буме и в степь хлынул третий, людской, вал, Чебун приволок жирных карасей. Запрокидывая на затылок тяжёлый капюшон, с укоризной посмотрел, как Палыч совал шилом в банку из-под солёной рыбы, соображая ситечко для протруски табака.

– Рыбы – во! – Садясь на ступеньку, Чебун шаркнул пальцем по крепкой шее. – С Борькой несколько кулей наловили... Ты не ходил, Володька?

– Не-е...

В тарелке с отбитой эмалировкой подпрыгивали ещё живые караси, хватали сухую пустоту круглыми бледными ртами.

– Не ходил, говоришь... Банками вот какими-то, как... не знаю... Хэ! – Чебун взял в руки продырявленную банку, повертел. – Совсем ты какой-то стал, Володька, как я ни посмотрю! Такая, можно сказать, удача...

Вышла старуха; Чебун оживился.

– Вот, Гутя, хочу твоего молодого на рыбалку забрать! Мы с Борькой порядком хапнули рыбёшки, сёдни они с Женькой поехали в Черемхово, сдадут в детсадик...

– Позови, конечно! – не очень-то веря в годность Колымеева для таких дел, согласилась старуха. – А то он скоро чокнется: целый день – тук-тук! тук-тук! Всю бошку мне истукал за эти дни!

– И я говорю! Рыбы та-ам! Эх, если б не мои годочки!

– Куда тебе столько-то?! Добыл на жарёху – и ладно...

– Зайду утречком! – закрывая за собой ворота, крикнул Чебун. – Отоприте, а то мне корячиться...

## 2

Две сгорбленные фигуры, оступаясь, крались в сумраке. Сырость связками склизких змей лезла за шиворот и в широкие рукава брезентух. Кипела у затороченной коряги речонка, натягивала луки ольхи. Натыкались на полоски воды – но это была ещё не река, а её отголоски. Пересекали одну такую лужу, когда чёрный гребень взбурлил под сапогами. Брызнули фонариком: крупный сом. Чебун бросил мешок и жадно засопел, лоя сома задрожавшими руками, но только намочил фонарик, который тут же и потух. Сотворилось совсем темно. Проухала сиплым горлом сова, просекли воздух утки. Железной песнью колёс аукнулся вдалеке не покорённый степью поезд... Сом ушёл на хвосте, тяжёлой корягой хлюпнулся в воду. Шли дальше, батожком ощупывая впереди. Речной рокот удалялся и словно проваливался в яму, и тогда делали передышки, чтоб очистить с обуток вязкие комья...

За изгибом реки газанул мопед, и Чебун надсадно высморкался, зажав нос одной рукой, а другой опершись на толстую палку.

– Обступает, сволота! – Чебун повернул в другую сторону.

Вскоре из-за горы, угадываемой по ломаным линиям в воздухе, засветилось тонко и оловянно. В тяжёлом дождевике Палыч семенил что было сил.

– Не спи, Володька! – подбадривал Чебун, правя до богатого, ещё не исчерпанного рыбацкой ордой улова.

Ноги в белых от старости кирзачах Чебун ставил крепко. Скользя по глине, Палыч сетовал, что по примеру Чебуна не взял в руки хотя бы черен от метлы и не надел лёгенькую штормовку, а теперь путается в одежде не по росту. Впрочем, с вечера было сухо. Дождь просвистел под утро и, лязгнув в стекло, сорвался чёрною птицей, роняя мокрые перья. На зяблом ветру обыгали крыши и последние капли оборвались с бельевых проволок. Старуха, собирая его в дорогу, как на войну, сунула брезентуху, а то бы Палыч и горя не знал...

– Либо папироску засмолить? – извлёк завёрнутое в целлофан курево.

Чебун попрекнул:

– Сам стоит – соплём перебить можно, а туда же! Чё это, конфеты, что ли, грызёшь, папироски-то свои?! Мне хоть тыщу рублей кинь – ни за что не возьму в рот эту пакость!

Курно вздымились протравленные ливнями почвы, вперемешку с облаками упали в речонку обрывки тумана, а старики вышли к высокому забору стадиона. На столбах беззубо раззявились и застыли в сдерживаемом сурхарбанском выдохе чёрные зевы репродукторов. Одиноко глядели пустые трибуны, и только вороны на скамейках жались друг к другу мокрыми, точно мазутом обтекающими телами и воинственно раскрывали загнутые книзу клювы, созерцая ранних путников. Когда, чертыхаясь оттого, что ноги расползались на подточенной ручейком тропинке, шедшие поравнялись с трибуной, со свистом крыл и сухим карканьем сорвались с даровых сидищ и загреблись далеко в небо одетые в траур птицы, чёрным кольцом замкнулись в вышине.

– У, сучья порода! – палкой взмахнул в неудержимой досаде Чебун, а Палыч с тоской следил за взволнованным, прочь от людей устремлённым полётом...

Один за другим попятились многие повороты, давно рассинилось, и легли крупными и малыми пятаками отмели, но чумовой рыбы Колымеев так и не увидел.

– Наверное, врут...

– Чего?

– Мол, врут люди, что рыбы много...

– Должно остаться, Володька, если эти ханыги не вычерпали!

Из установленной на ольховых жёрдочках палатки вылез нестарый бурят и остывшим голосом попросил закурить. От зноби слепо тыкался сигаретой в расставленные ладоши Палыча, который прикинул, что человек напротив, скорее всего, из соседних сёл, приехал на рыбалку и заночевал на берегу. Глаза его были разъедены костровым дымом; засалилась у карманов телогрейка, из которой местами – там, куда попал искрами костёр, – торчали куски ваты; поперёк обвязал туловище ремешок с ножом на левом боку; на голове – сбитая на затылок кроличья шапка, ноги в закатанных броднях. Из бродней выбились портянки, ибо наматывались, как видно, в спешке, когда бурят слышал за палаткой голоса. Одну за другой затушив шумным дыханием несколько спичек, он в досаде сплюнул.

– На-ка, подкури сам – не могу...

– С похмелья, что ли? Ну и здоровы же вы пить! Ишь куда убёг! Шаман, ёлки... От бабы, что ли? Будем теперь знать, куда от них бегать, где скрываться!

Жадно затягиваясь, бурят замахал на Чебуна рукой.

– Да рассказывай! – хмыкнул Чебун, через голову перевалив мешок с сетями с одного плеча на другое. – Рассказывать он будет! Ты не закулейский?

– С Хорёт я буду, мужики.

– Рыбы, наверно, натарил со всех делянок, а?! Мешков десять?!

Чебун был недоволен заминкой, поглядывал на небо, вычисляя время.

– Сколь щас? Часов семь?

– Семь и пятнадцать минут... – посмотрел на часы бурят и сплюнул окурочек в воду. – Мальчонку не видели нигде? Мальчонка же у меня утонул! Пошёл на рыбалку – и вот...

Колымеев задрожал, как в быстрой воде белая от старости ольха.

– Не-е, не встречали! Так-то бы мы тебе сказали, конечно...

– Может, выпустили из вида?

– Я бы заметил, – серьёзно сказал Чебун. – Я всё время на реку смотрел. Да где его теперь найдёшь? Смотри, вертит как!

Он кинул ветку в пенную шапку воды, ветка, теряясь в напоре струи, понеслась по течению.

– А горе – да...

Бурят сразу сдался, забормотал еле-еле:

– Возле моста получилось, приехал на велосипеде рыбачить... Мы с братьями сразу разделились: один пониже моста стал искать, другой – где коровий брод, а я уж здесь всё облазил. Третий день живу в палатке, продрог, как собака. Ниже, на повороте, трёхстенку капроновую натянул. Стерегу, может, поднимет со дна...

Он сгрёб на лице вышарканную шапчонку и так, не разбирая дороги, полез в гору.

– У тебя ещё-то дети есть?

– Е-есть, – сдавленным горлом всхрипнул бурят. – Доча в Иркутске на экономистку учится, сын одиннадцатый класс нынче кончает...

– Ну вот! – оживился Чебун. – Видишь, полная обойма у тебя...

– Конечно, тянись для них! – поддакнул Колымеев, но жалость его была особая, одному ему ведомая. – Ребёнок – это жалко, конечно...

Большие, с консервную банку, пенопластовые поплавки чутко мырили в хлёсткой воде за поворотом, готовые затонуть, если в закоряженной глубине в сеть ткнётся нерадостная добыча. И снова воронье, словно тоже ожидая, когда поплавки захлебнутся и пойдут на глубину, с кустов наблюдало за несомой течением пеной...

Чебун молчал, косясь на Колымеева. У брода из него полезло:

– Жалко ему! Да ты знаешь, что такое хоронить детей?! – Чебун передразнил ответно замершего старика: – «Мы тебя, парень, понима-а-ем!» На хрен ты вылез со своим языком?!

– Чего разошёлся-то? – обомлел Колымеев. – Неужто я мужика понять не могу? Ты уж совсем меня... за малахольного держишь!

Чебун громко заскрежетал зубами, давя в себе голос.

– Откуда ты знаешь об этом? Кто... кто?! Это понять может, когда... – Он махнул в воздухе посохом и с силой стукнул им в землю. – Ты мне лучше, Володька, не заикайся! Я на дух этого вынести не могу...

Выругавшись у брода, остатнюю дорогу шли молча. Заломали не менее двух вёрст, и цифра эта напугала и вместе удивила Колымеева: он уже не помнил, когда пёхом одолевал столько. Вокруг провалищем лежала степь, на отшибе мелькая берёзовыми подмышками перелесков, бугрясь шишаками каменисто-глиняных взгорий. Заглядевшись на один из таких холмов, старик вздрогнул: дальний бетонный столб высоковольтной линии сравнялся с холмом, а там вознёсся над ним, как могильный крест. Страх был недолгим, речка и старики с ней повернули вправо – столбы стали к ним поперёк, а не вдоль линии, и видения исчезли. Степная ширь звала за горизонт, сначала за один, потом за другой холм, а за третьим восставал четвёртый, тоже манил узнать, что там, впереди, есть ли ещё холмы или один нищенский, ветровой, полынью пропахший простор. Непостижимое, вековечное восставало над степью, роились над

курганами плачущие птицы, и в одиноком, серебряными стрелами дождя обстрелянном кусту таился века назад замерший на лошади черноликий монгол. За ярком, сбежавшим в отлогий бережок, речушка растеклась мелкими плёсами в рукавах узких перемычек. Пришлая рыба ушла из речонки, и только в плёсах, потерявших связь с основным водотоком, кое-где булькали карась и елец – сомы и карп «уходили» по траве, перепрыгивая перешейки. Здесь наметили первую тоню.

Чebун потянул из мешка длинную трёхстенную сеть, досадливо цокая языком – в снасти встречались дыры.

– Починить надо – да...

Штрихи колёс испестрили степь и берег, но Чebун уповал, что не всю рыбу выгребли.

– Здесь же она, я же чую! Ну-ка, Володька, отцепи со своей стороны...

– Как?

– Отцепи – грузило в ячею завалилось! Щас если хапнули на этих плёсах – всё, зря ноги ломали! Эх, ну паразиты – а?! Есть техника – поезжай дальше, дай старикам половить!

– Они нас не шибко-то уважают... – откликнулся Палыч, держа конец хитро скрученной и надраенной гудроном – чтоб не расплеталась – жёсткой верёвки. – Мы им – всё, пережиток уже! Не задумаются даже...

– Заводи оттуда, а я со своей стороны... Как думаешь, есть тут рыба?

Пенной брагой в кадучке взбурлила у берега вода, и стая тяжёлых, точно свинцом налитых карасей, сорвавшись с травы, ушла на глубину.

– На-ка, лови мой черен!

– Ловлю!

Батожок, описав дугу, ткнулся в береговую грязь.

– Теперь дело пойдёт... – постановил Чebун будущую удачу, а затем приволок из кустов рогагую длинную палку, чтобы прижимать ко дну поднятую тетиву, если рыба пойдёт под нижней верёвкой.

Засетили первый рукав, и возбуждённый Чebун сбил шапку на макушку:

– Погнал, Володька!

– Даю жару!

– Не хвались, – укоротил Чebун.

Удар провалился в пустоту. Озябшие пальцы не держали склизкий черен. Палыч ударил ещё, но палка упала в воду, и старик, черпая в сапоги, покарабкался за ней.

Чebун задохнулся от петушиного клокочущего смеха:

– Вот так, Володька... по бабе... кх!

– Сейчас, Серьга, разберусь!

И точно: как только у Колымеева стало получаться, Чebун жадно засопел.

– Пошла? Пошла, говорю? Чё ты молчишь?!

Торпеды врезались в раскинутую ловушку.

### 3

Светлым занималось утро, но праздника на сердце не было. Ни былых красок, когда в глаза бросался разноцветными окружками каждый цветок, ни нежного дымка от мокрых заплотов, а уж тонкого аромата сирени тем более не видела и не чувствовала нынче старуха.

– Живу, как муха бескровая, всё чёрно-белым кажется! – каялась Августина Павловна, с ведром помоев выходя на двор. – Либо уж купить цветной телевизор?

Вылив за дорогу помои, старуха поплелась в дом. По пути проверила замок на кладовке, но замок висел скважиной к стенке, то есть как она с умыслом оставила его с вечера. Каждый день Августина Павловна проверяла кладовки, ибо со вселением Упоровых исправность зам-

ков была одной из мер по сохранению их со стариком имущества. Старуха всё ж таки отвоевала своё право на половину ограды – по крайней мере, считала, что только боем взяла эту высоту, и Алдар свёл цепного пса на скотный двор, а грузовуху перебазировал в ограду тестя. Только старуха по ошибке считала, что угольник да вот ещё машина встали на её дороге. Эта думка упорхнула из головы, как птица из гнезда, тотчас же, как упоровские коровы потеряли молоко, а до ушей старухи дошла с третьими устами новость: на неё грешит Тамара, будто бы сглаз и прочее. Колымеева первое время не опускалась до слухов, но потом и не верить стало нельзя. В одиночасье сгнула Маруська, старуха без толку звала её и у стаяк, и возле упоровской бани. Алдар постреливал из малопульки голубей, гревшихся на крыше сеновала, скармливал мягкие тушки собаке. На него-то и упали подозрения. «Фашист недобитый! Бандера!» – с крыльца слыша винтовочные хлопки, выругалась старуха, но в ссору не полезла: как доказать, если по воде вилами писано. А там старуха подсмотрела, как бурят утром выпускает Маруську из кладовки, и догадалась, что кошка, храня в себе зачатки будущих пушистых комочков, продается за кружку молока ловить упоровских мышей. Но старуха и в себе, и в окружающих упорно поддерживала мнение, что Маруську запирали силком: «Вижу: выпускает втихаря! Испугался, конечно, что к прокурору пойду!» Она не стеснялась маленького наговора и даже была уверена, что никакого наговора с её стороны нет. Впрочем, и соседи не оставались в долгу, и однажды Тамара в глаза старухе вывалила то, что до этого было пищей сплетен. «Я вредительством занимаюсь?! – опешила старуха. – Да я даже не гляжу на твоих пустых коров!» От незаслуженной обиды Августина Павловна подходящего слова не смогла сказать себе в защиту, а вспоминая об этом, корилась весь вечер и с горя нахватала лишнего давления – головой не пошевелить, только круги летают перед глазами, хоть палец продевай...

Проснувшись сегодня до света, она твёрдо решила встретить день на ногах и до прихода старика справить какую-никакую работёнку по дому, однако же махнула на невытую посуду и грязное бельё на лавке и, проводив Колымеева, забралась в постель: лишний час полезную службу не сослужит теперь, когда хоть век жизни ещё нарежай, а всё идёт ко праху. Лёжа на скомканной постели, бесцельно смотрела на стену, точно стараясь увидеть что-то вне, и огорчилась, когда взгляд упёрся в бурые бугры извёстки, отставшей там, где подтекала крыша, по новой меси извёсть да карабкайся под потолок...

Напоровшись на мысль о побелке, старуха отвернулась к другой стене, той, что отделяла спальню от зала. На этой висел фотографический календарь с кошкой. Столбики циферок по прошествии лет старуха заклеила тетрадным листком с ручной датировкой церковных праздников. Цифр, указывающих год, уже не было видно, но Августина Павловна и так помнила: в то лето убился Алёша – и временная стрелка словно зарочилась в её часах...

– И не думала не гадала, что когда-нибудь вот так жить буду! Надо было штук пять-шесть нарожать, тогда бы, может... Либо Бог наказал? Приснись хотя бы, Алёшенька, а то сколь годов прошло – и ни ра-а-зу! Я уж забывать стала, какой ты ешь из себя...

Календарь висел над горкой, а в нём покоился от глаз подале выпуск «Огонька». Серая обложка отвалилась со скреп, бумага пожелтела. Журнал был неумело спрятан под тряпьем, и, открыв пенал, старуха тут же нашла его. С журналом в руках села на колпак швейной машинки... и открыла первую страницу. Там она увидела праздничные стихи. Старуха помнила лесенку слов наизусть, хоть так давно это было, – нет, не в другой жизни, а в той единственной, что была у неё и прожив которую старуха вошла в смерть, в её предчувствие, с недавних пор ставшее формой её земного существования. А другой жизни у неё не было.

– Тот день был самым радостным на свете, сама весна несла великий дар: подписывал в Централь-ном Ко-ми-те-те билет наш Гене-ра-льный секретарь... Се-кре-тарь, – по слогам, чуть слышно перебирая губами забываемые слова, повторила раздумчиво Августина Павловна. – Вишь, как получилось...

На следующей странице красными буквами было пропечатано о советских постановлениях, и тем обиднее было ей читать о том, когда для самой старухи одно постановление – мирно дожить свои дни.

– О между-наро-о-дной де-я-тельнос-ти Цэ-Кэ Кэ-Пэ-СэС по осу-се... по осу-шес-твле-ни-ю реше-ний XXIV съезда па-а-ртии... – Августина Павловна с удивлением смотрела на кирпичи букв, из которых так ничего и не вышло. – Постановле-е-ние Пле-е-нума Цэ-Кэ Кэ-Пэ-СэС, при-нятое 27 апреля 1973 года...

Дойдя до этих цифр, которые произнесла с особым значением, она остановилась, как у огромной ямины, налитой чёрной водой, страшась и в мыслях всколупнуть следующую страницу, растрёпанную больше других и по углам потемневшую от частых прикосновений пальцев. Но журнал своей волей раскрылся там, где из вороха плохонько отпечатанных фотографий, а пуще из воспоминаний, рождённых ими, глядели восковые лица в красных рамках домовин и, как будто зазывая, щерились глиняные пасти могил, а бабы в чёрных одеждах падали на свежие бугры с заломленными руками. И слёзы, точно листовые черви, заточились из старухиных глаз в голубых прожилках...

Пришла Саня; пили чай на кухне, сидя без света – в окне уже стояло солнце.

– Всё ж таки хочешь ехать к дочери на лето? – макая затверделую баранку в кружку с кипятком, спрашивала Августина Павловна. – Она у тебя где живёт?

– В Нижнеудинске.

– Ты говорила, да я забывать стала...

– У меня тоже голова, как дырявый карман: что ни положишь, то обязательно выротишь...

– Года, чё ты хошь.

– Ну дак чё? Конечно...

– У меня Фёдор, братишка-то мой старшой... Тоже, Саня, – годы! В прошлом году послала ему письмо, а до сего ни ответа, ни привета. С другой стороны, если б чё, дак Алька телеграмму бы отбила...

– Мы все повидали на веку, Гутя, – мучительно думая о другом, вздохнула слабой грудью Саня и застыла с полураскрытым зевом, медленно, точно боясь упустить последнюю помочь, выпуская свистящий воздух. – Ты, чё ли, меньше пурхалась в жизни или я?

– Так оно, я разве говорю...

Саня, когда говорила, мелко хлопала веками в какой-то нервной болезни. Что могла быть у неё болезнь с нервами, вполне допускала Августина Павловна: Саня мыкалась не утаённо, а общей со всеми жизнью, которая, не скупясь, нахлестала её по глазам своими терновыми ветками.

– Сижу на чемоданах! – тихонько засмеялась Саня, но смех этот был невесёлый: за помощью и советом пришла к Августине. – Туберкулёзь у меня, кажись, признали, Гутя!

– Да ты что?! Кто это тебе сказал такое? Я дак, примерно, не замечала за тобой...

– Я сама не знала, никогда не кашляла...

– Дак не было, я же помню!

– ...а тут прошла в нашей больнице рентгент, снимок показал неладное с лёгкими... Направляют на капитальное обследование в Иркутск. Доча звонила на днях, говорит: приезжай, мама, об деньгах не беспокойся...

– Открытая? Форма-то?

– Не-е...

– Ну это, Саня, ишо ничё!

– Закрытая, по всему. Дак и то, не установлено окончательно...

– Там установят... Это ты, значит, сперва к дочери поедешь... А потом вместе до Иркутска?

– С дочей поедем, а там нас Иринка встретит...

– Дочь, ага. Мало ты ей, Саня, помогала?! И мясо, и молоко, когда держала хозяйство...

Я-то помню...

– Но на билет мне отправила, на дорогу. Вчера или когда, позавчера? Получила. Девки почтовые звонят мне: иди, баба Саня, тебе перевод от дочи...

– Конечно, молодец Валюха. Ты ей Ирку растить крепко помогла, а самой откуда было ждать помощи? И тот – боров! Валькин мужик-то?

– Юрка...

– Ага! Недавно увидела его возле магазина: пья-яный в дрезину, небритый, ой грязный!

Какая от него могла быть помощь?!

– Дак деньги первое время приносил...

– Это когда в ДРСУ работал?

– Тогда. Приносил деньги вовремя, месяца три, однако. А потом бегать, искать его...

– Глотка поганая, а руки золотые! Колымеев, когда на руднике работал, тоже принёс аванс... Это ишо, кажись, году с ним не прожили... Как сейчас помню – семьдесят пять рублей подаёт. Я говорю: «Не может быть, Колымеев: либо семьдесят, либо восемьдесят – одно из двух!» Отдал остальные деньги...

Посмеиваясь, старуха наполнила кипятком пустые кружки.

– Ирка-то, поди, нонче кончает уж?

– Кончила уж, двадцать шестого в главном корьпусе диплом выдали. Значок – я-то не видала, она пересказывала по телефону – дали такой синенький. Ей да ещё одной выпускнице...

– А пошто не всем?

– А тем только, кто круглым отличником вышел.

– Ты смотри-ка! Молодец девчонка – чё скажешь? Лидкин средний тоже должен кончить обучение, дак не знаю... Ни письма, ничего бабушке нет! Да и сама раз в полгода позвонит – и ладно. Тут хоть сдохни мать...

– Не-е, Иринка мне иной раз каждый день звонит. Чё делаешь, баба, да как у тебя здорье...

– Заботится, конечно. Ты ей как мать была! Щас бы только какой-нибудь хлюст не подвернулся, а то не будет счастья...

– Ой, не дай бог! – затрясшись головой, согласилась Саня и виновато покашляла в кулачок. – Какое счастье, если мужик пьёт?!

– О том и печаль... – вздохнула Августина Павловна, но ломала её иная кручина.

...Нынче на родительский день всё-таки съездила с Шаповаловыми в Нукуты, наведала своих. Вырвала сухую траву и подровняла могилки, а вот с покраской вышло неладное. Брала в магазине банку голубой, да не досмотрела, на кладбище чухнула – краска-то синяя! Оно бы ничего, всё лучше, чем совсем не крашено. Но у всех, как нарочно, голубенькие, словно с неба напитанные оградки, а у неё, Августины Павловны, – синие! Кто ни пройдёт – либо уж это чудилось мнительной старухе? – обязательно посмотрит с укором...

Это-то и собиралась обмозговать с Саней. Однако Саня присидела недолго, как уже заторопилась домой перепроверить чемоданы да дnevать у телефона: ждать распоряжений от дочери.

– Врач сказал, может, операцию делать будут... – не то жаловалась, не то отрешённо говорила Саня, переставляя суконные боты, заскорузлые от присохшей грязи. – Не знаю, чё будет с того, если всё-таки признают у меня туберкулёз...

Августина Павловна шла позади, заложив руки в карманы тёплой кофты.

– Не советовала бы я тебе, Саня, ложиться под нож! Сколь проживёшь, столь и ладно. Колымееву предлагал Алганаев сделать операцию на паховой грыже, дак Володя отказался...

– Как доча скажет...

– А чё дочь?! Тебе жить, не ей...

Проводив Саню за дорогу, старуха наведалься к Чебуновым по молоко. Брала по склянке два раза в неделю: чай забеливать, либо в пюре, опять же – на постряпушки. В конце месяца аккуратно выплачивала установленную Чебуном сумму, а чтоб старик не объегорил – в кухне, на обратной стороне дверцы шкафа, метила фломастером, сколь банок взяла и по какой стоимости. Чертя очередную закорючину, удивилась: на двести рубликов набежало за май! И определилась брать молоко раз в неделю, когда и так киснет, не выпивается впору. Парное, конечно, и есть парное, но по тридцатке отвали-ка за литру! Разобраться, дак оно с кислинкой вкуснее...

С Ларкой покалякали на крыльце. Цыганка обожгла на пекарне руку, бюллетенила третий день, к неудовольствию свёкра. О нём и шла речь.

– Наловил, говорит, рыбы – Борька с Женькой поехали в Черемховую продавать... – Старуха в лицах обсказывала вчерашний разговор с Чебуном. – Ага, так и сказал! Ну, говорю, будешь с ба-альшим барышом! Глядишь, внучатам подкинешь... Так, с намёком ему...

– Жди, подкинет! Два раза подкинет, а десять раз не поймает...

– Хоть сколько-то даёт, поди? – не верила старуха.

– Даёт копейки... Да он больше пропивает!

– Крепко пьёт, ага! Ну да он не пьянеет, здоровый такой. Ему хоть флягу страви! Это Колымеев у меня – да, ханурик, со стопки скovyрнётся...

– Зато незлой...

– Ласковый мужик вообще-то. Я уж на что злюча баба, дак он никогда не занимается со мной, уйдёт в сторонку да похохатывает...

– Ребятишки бы не держали – собрала манатки и уехала к отцу! Он же у меня в Зиме живёт, мама умерла...

– Я помню, ты говорила...

– Надоело всё, баб Гуть!

– Да, слушай, сколь сил надо терпеть этого дьявола лысого! – поддакивала старуха. – Коров кто доит?

Ларка кивнула на вымазанные навозом огромные галоши:

– Сам.

– Вишь ты! То и грызёт...

Придя с молоком, старуха заложила дверь, чтобы уже никто не помешал её планам, и первым делом полезла в подполье, побелила стены, дабы выморить сырость, от которой болотный дух в кухоньке. Попутно проверила разложенную в ящики картошку – подходяще проросла, можно бы высадить, да всё незадача: то погода подведёт, то другая прорва случится. Нынче у Сани взяла картошку на посад – у Сани жёлтая, рассыпчатая; в прошлом году у неё хорошо вышло: с трёх соток пятнадцать кулей... «Каково у нас с Колымеевым будет?» – вертя в руках банку с огурцами, ставя её на свет, жидким лучиком долетавший из кухни сквозь щели в полу, размышляла старуха. Склянка солёных огурцов помутнела, и старуха от щедрот вознамерилась отдать соленье упоровским коровам, но тут же и раскритиковала себя:

– Жди больше, поймёт она твоё добро! Щас бы обмишурилась со своим характером. Нет, здесь нужно другой политики придерживаться, Августина Павловна!

Навоевавшись в подполье, с грехом одолела по разболтанной лесенке вылаз наверх, когда в сенцах отскочил крючок. Старуха замерла в догадке: кто бы это мог войти в затворённую квартиру? Либо только подумала, что надо закрыть, а на самом деле оставила дверь полой?..

– Колымеев, ты? – поворотилась старуха, но голос ушёл, как в пропасть. – Либо ты, Саня? Или уж Фёдор?!

Пришедший проскрипел половицами...

4

С первого плёса взяли прилично. Рыбу вместе с собранной на деревянную рогулю мокрой сетью запихали в куль, который взвалил на плечо Чебун; Палыч нёс палку и другие мешки.

...На одном из плёсов Чебун заорал:

– Сеть лопнула! Мать-то твою так!

Сеть была старая, просчитался Чебун, когда вымётывал её на заплот, и капроновые нитки пересохли на солнце, а теперь лопнули под рыбьим напором, и сеть держалась на верхней тетиве. Запасливый старик извлёк из кармана кусок верёвки и, встав коленями на сухую землю, стал связывать тетиву, продевая верёвку в ячейки.

– А хорошо поймали! – Палыч довольно похлопал шевелящийся капроновый мешок.

– Давай сглазий ещё! Оттого и сеть, наверно, лопнула, что радовался всю дорогу: пошла! пошла!

– Да не... Чё ты? Я ж знаю, что не надо радоваться!

Починив снасть, брели к последнему плёсу. Радостной живой тяжелью налитый мешок гнул спину Чебуна, который неискренне ойкал. Палыч тоже был рад, хотя ноги с отвычки выли голодными волками. Небо хмурилось над степью, не суля хорошей погоды, но и не разрешаясь дождём. К полдню прохрипел по ржавым ковылям ветер, погнал по воде стружку, но и он иссяк.

Идти было славно, и даже грузная от влаги сеть, перекочевавшая на спину Колымеева, несильно томила, как не отягощали подковырки Чебуна.

– Володька!

– А?

– Кисет на камне забыл. Как теперь без курятины будешь?! Бежи, я подожду...

Палыч шарил по карманам.

– Здесь он!

– А чей на камне тогда лежал? – пряча ухмылку, деланно недоумевал Чебун. – Такой вышитый золотом? Я думал – твой, старуха вышила!

Обыгивала степь, в потаённые ложбинки, в суслицы норы укатывалась вода, мягко и зелено курчавилась на солнце трава. Брести стало легче, Палыч скатал дождевик в комок и определил в мешок с сетью, залепленной чешуёй.

Над привольно раскинутым плёсом, роняя на воду тряпичную рухлядь, взметнулись в небо чёрные птицы. С палкой в руках обходя плёс, Колымеев нашёл его. Он лежал у воды, опрокинув лицо в зелёную жижу, словно вязкой землёй хотел заткнуть в смертном ужасе отпахнутый маленький рот; крупный песок набился в облепленные водорослями волосы, в чёрный рот, в фиолетовые раковины ушей, и вороньё уже выщипало синее мясо на спине...

Чебун как ни в чём не бывало распутывал сеть, когда вдруг услышал:

– Э-э-э-э!

Вздвогнув, Чебун замер с неразмотанными метрами сети в руках.

– Чё ты? Орёшь-то?! – Бросив сеть, он резво потрусил к Палычу, предполагая богатый улов. – Ну, чего ты тут? На гвоздь, что ли, наступил? А?!

Палыч кивнул под ноги.

– Глянь, Серьга! Вот...

– Чё ты как дурак-то?! – закричал Чебун и замахал руками, как раньше Палыч. Отбежав в сторону, Чебун долго отплёвывался.

– Не мог предупредить?! Или ты не знаешь, что нельзя на них смотреть?! Чур! Чур! Пойду скажу ему... А ты не уходи! Только не смотри на него, ну его к чёрту! Сядь вот сюда и сиди. Я скоро... Не уходи, сиди тут... Мы скоро прийдём... Да не смотри, говорю!

Чебун пятился, пока не сообразил, что опасности нет, и только тогда развернулся и быстро ушёл вверх по реке...

Солнце покатило за гору, иссиня-жёлтые капли дождя замелькали в потухающем свете. Прибежали Чебун с бурятом, который тут же уронил шапку и кинулся оттащить сына от воды. Протасив мёртвого по земле, он рывком встал и уже твёрдо, понимающе посмотрел на утопленника.

Чебун одёрнул его за рукав:

– Он же мёртв!

Место, где лежал мальчишка, темнело в зелени степи. Это выкипела на солнце человеческая соль, и кислота прожгла приютившую человека землю...

На одной ноге вертанулся Чебун – на тракт, за попутной машиной, а бурят сел возле сына и уткнулся лицом в колени.

Поспела бортовуха, и они на растянутом дождевике загрузили тело в кузов, покидали туда же мешки, сами умостились рядом, держась за дощатые бортики. Чебун напросился в кабину. И машина с траурной ношей медленно и важно поползла в посёлок, покачиваясь на кочках и зарываясь капотом в реку на студёных бродах.

## 5

Спустя несколько дней Колымеевы обедали в кухне.

– Вот тебя не было тот раз – сколь я дум переворошила, Колымеев! – обсасывая рыбе сваренное мясо, рассказывала старуха. – Ты как выписался из больницы – пятая неделя идёт, я и привыкла уже, что ты всегда рядом... А тут увидела твою кровать заправленной – будто чё-то опрокинулось у меня внутри. Честно слово! И чего бы, казалось, дуре переживать?! Подправили человека за наши гроши, лицо такое здоровое стало, румянец опять же... И знаешь что, Колымеев? Вздохнула так, а из сенцев какая-то подлюка – не я, а другая старуха – и отвечает мне: «Одыбать-то он одыбал, да для чего одыбал? Клубок-то, говорит, уж завертелся...» Во как! Спрашиваю: «Кто это там вякает?!» Молчит! Я схватила кипяtilьник, выскочила в сенцы – ни-ко-го-о! Или уже ушла, дак двери закрыты с этой стороны... И то-то мне страшно стало, Колымеев! Да если бы говорила ишо – бог с ней, какие ни есть худые вести! – мне бы всё спокойней, а то кинула словцо, как собаке кость, – и вон. А что имела в виду, какой такой клубок – поди-ка теперь узнай-ка! Я всю бошку себе ископала, гадая об этом, даже к реке ходила, звала тебя. Избегалась хуже шалашовки, а тебя всё нету: и где мой Колымеев?!

Тягучая капля пота катилась к виску старика.

– Не верь ты! – психовал Колымеев. – Задумалась – вот и показалось, что кто-то откинул крючок. У нас в палате был такой Иван Золотов – барабашек гонял по ночам...

– Нет, Колымеев, не погрезилось мне! – сложив масляные руки на груди, божилась Августина Павловна. – Я вот даже прикинула... Помнишь, я уголь таскала, а меня кто-то толкнул в спину?

– Ну?

– Так я вот сперва решила, что это Алдар, а сегодня смикитила: нет, не он!

– Да что и так ясно было, Гутя! Зачем бы он тебя, в самом деле, толкнул?

– Он и не толкал, хотя тыщу раз мог!

– А кто же тогда?

– Она и пихнула, старушенция эта!

– Выпей, там в трюмо такие капельки есть...

И вдруг старик обнаружил белые макаронинки.

– Сквороду-то надо было мало-мало ополоснуть, Гутя!

Беря из сковородки жирную сорогу, затесавшуюся в карасёвый ряд, старуха перестала жевать.

– Здрасьте! – сплюнула сорожьей костью. – Я ли не мыла?!

– Не знаю. – Старик пожал плечами и на глазах настороженно следившей за ним старухи подцепил вилкой ещё одну макаронинку. – Вот...

Старуха сбегала за очками. Тычась окулярами в услужливо расшиперенные желудки, стала разглядывать находку. Результаты исследования оказались неутешительными, о чём старик догадался по неловкому покашливанию Августины Павловны. Тогда он тоже надел очки... и бросил взгляд на помойное ведро.

– Это... это что?! Это ты... ты так рыбу потрошила, прямо с червяками?!

Кто-то, маленький и скользкий, копнулся острой головкой в кишках.

– А где я их увижу? – защищалась старуха. – Цыганка капала в глаза полезные капли – я и видела, а как не стала ходить – не налиём – дак чё?! – дак я и слепну, как собака!

– Нет, но промыть-то можно?!

– А ты чё не мыл?! – К старухе вернулась уверенность, голос её обрёл прежнюю властность и готов был заглушить своим дребезжанием в зобу вышедшего из-под контроля старика. – Как рыбу исти, дак он пе-ервый, а как чистить, дак...

Остановившись нос к носу с Колымеевым, который мелко задрожал губами, старуха змеино надула измазанные рыбьими потрохами щёки, чтобы достойно расквитаться за позор, но в этот момент в дверь троекратно постучали.

– Да-а-а?! – с изготовленной в душе яростью заорала Августина Павловна.

Тот, кто был в сенцах, не сразу потянул на себя ручку. На пороге объявились два человека. С их появлением Колымеев сел на табуретку, к которой его притянуло неведомой силой. Бурята он узнал, а в женщине угадал его жену. Вошедшие негромко поздоровались.

– Здрасьте! – буркнула старуха и посмотрела на Колымеева. – Проходите, пожалуйста, не стойте на пороге...

Бурят по-мужски крепко забрал в широкую горсть руку Колымеева.

– Спасибо, старик.

Он выставил на стол бутылку водки.

– Похоронили?

– Два дня назад, Владимир Павлович, – отозвалась женщина. – Как ваше здоровье?

– Та-а... Не хуже, чем вчера! Я не задумываюсь теперь.

– А откуда вы про болезнь Колымеева знаете? – встряла старуха. – Извините, не из любопытства – ради общего интереса спрашиваю...

Старик с трудом засмеялся.

– Ты, бабка, как на допросе!

– Да нет, всё нормально! Никакого недоразумения нет... Меня Ирина зовут! – поспешно добавила женщина и, покраснев, развязала на голове платок. Чёрным веером рассыпались волосы, на самой макушке, у разведённого гребёнкой пробора, снежно-белые.

Жёлтая тень летнего дня легла на окошки. Все разом, точно по сговору, засмотрелись на этот радужный высокий свет в синем небе. Пришедшим было неловко распорядиться в чужом доме, но старик догадался:

– Что ли неси, Гутя, стопки? На стол направо, то-другое...

Старуха, со вздохом закружив по кухне, а оттуда – в сенцы и обратно, покорно собрала на стол, сама проникнутая общей бедой. О том, чтостряслась беда, она догадалась по мелькнувшему в разговоре тревожному и как никому знакомому ей слову «похороны».

– Ешьте огурцы, ешьте! – подсказывала старуха, сделавшись грустной и усталой, как будто ветер с дальних мест пахнул на неё нездешней тревогой, которую в этом доме учуяла только она. – У меня хорошие огурцы, хрустящие...

– Действительно хрустят, – деликатно откусила Ирина. – Как вы их солите, Августина Павловна?

– Как солю? – Старуха подумала, что женщина откуда-то знает и её имя-отчество тоже. – Не знаю... Солю – да и всё, только ни для кого не жалею... Нам-то много ли со стариком надо?

– Не много, конечно, требуется для жизни...

– Это уж святая правда, самая что ни на есть она!

– Мне без моего парняги и жизнь... как старый валенок нужна! – Бурят ткнулся головой в расставленную ладонь. – Зачем она мне, спрашивается?!

Ирина тронула мужа за руку.

– Алексей?!

...Сидели на этих грустных не то поминках, не то встречах.

– Вам-то легче двоём, – слегка охмелев, с укоризной говорила Августина Павловна. – Всё ж таки живая душа, а так посиди-ка вечером одна?

– Не надо, Гутя.

– Чего, Володя?

– Тут такое дело – ребёнок...

– Это – да, жальче всего! Жалко старика болящего, пропойцу жалко, собаку переедут машиной – я не могу смотреть... А вот за ребёнка и вовсе огнём горит душа! Я ведь двух схоронила ребятишек, сначала Алёшу, а потом Полину. Так что не пустые слова говорю...

Часы с подоконника отстукали шесть, а проулком, вздымая сухую пыль, пробрели раздобревшие на зелёном духу коровы. Разгоняя стадо, профукал хлебный фургончик, качнулся на бугорке – и распахнулись дверцы, дохнув свежим пламенем хлебов. Коровы заломили морды на запах и замычали, а липкие слюни свесились с их розовых губ.

– Му-у-у! – прокатилось по околотку, но воздух уже просёк сухой росчерк кнута.

Выскочил водитель в дурацкой соломенной шляпе. Вдвоём с рыжебородым пастухом камнями, пинками в тугие, молоко несущие животы повернули от фургончика взбунтовавшееся стадо.

– Да, жизнь! Как на этот хлебный запах, идём на неё, а нас гонят чем попало...

– Не говори, дядя Володя...

Сизой тучей обрушилась с карниза голубиная стая и с шумом уселась на забор упоровского двора.

– Сейчас курам в кормушки полезут, – между прочим вставила старуха. – Я видела, она задала курицам корма... А что вы хотите? У всех вечерня кормёжка, у ваших и наших...

Выпили по третьей рюмочке, и гости засобирались на автобус.

– Как будете в Хорётах, спросите Аршановых... Я работаю в сельскохозяйственном отделе агрономом, Алексей – механизатором, там же...

– Где – там же?! – вспыхнул Алексей. – Я-то в пыли целый день, а вы, конторские работницы, на мягких креслах привилегии справляете...

Ирина покраснела.

– Бутылку-то заберите, – примирил Палыч. – Там есть ещё на два пальца...

– Вы что! У нас не принято...

– Чебунову отдать разве? Он ведь тоже... Не ходили вы к нему?

– Были, – кашлянул Алексей, взявшись за дверную ручку. – Мы ведь сперва к нему пришли, а он нас сюда направил, даже до ворот проводил... Поставили ему бутылку – и вот...

– И в дом не пригласил? – хмыкнула старуха, однако гости промолчали. – Уж это такой человек, не обижайтесь на него. У него двух сыновей убили разом, жена ишо молодой умерла...

Под крылечным коньком автовокзала, окрашенного в зелёное, под стать весне, гомозились пёстро ряженные девчата. Их звонкий стеклянный смех сосал сердце старика, словно он лицом ткнулся в нежные россыпи подснежников. Терпким, как бражная пена, теплом выдуло

ветки тополей, и вчерашний дождь не истребил, а пуше восславил жар и солнце короткого, что спичечный высверк, сибирского лета. Уже подсушило дороги, закурчавилась новая трава, затягивая старую, торчащую из земли, как шилья...

Прикатил заляпанный грязью автобус. Шофёр с такой же пузатой, как и он сам, сумочкой на брюхе пошёл в каморку контролёра – пробить путёвку.

Забираясь за Ириной в полупустой автобус, Алексей оглянулся.

– Ты, дядя Володя, не верь, если люди скажут...

Оттиснув его, в салон вспорхнули галочьей стаей весёлые выпускницы, улетающие из тёплых гнезд в холодные дали жизни. И старик опечалился, ведь его-то голубой автобус давно скрылся за холмом.

– Я даже ничё... – ухватив носом дремотный запах вечера, с волнением прошептал старик.

– Нет, я вообще говорю. А то ведь у нас, у бурят, какая примета есть: кто найдёт утопленника...

Алексей надвинул на лоб замшевую клетчатую кепку.

– Есть у тебя сигарета, дядя Володя? Мои кончились...

– На. Последняя.

– Э, не буду тебя обижать! Последнюю у нас брать не принято.

– Бери! – приказал старик. – Кури на здоровье. У нас, у вас... У кого – у вас-то?! Все мы люди... Или так и будешь до Хорёт пухнуть?

– Ладно. Я тогда тебе должен останусь! Хотя я тебе и так по гроб...

Возвратившийся из каморки шофёр несколько раз требовательно посигналил.

– Пое-ехали! – адресуясь боковому зеркалу, в котором отразилось неторопливое в своей лени лицо водителя, и к школьницам, что затихли на задних сиденьях, едва родная земля поплыла из-под ног, а вместе со школьницами обращаясь и ко всей своей жизни, старик повёл рукой – и автобус укатил за гипсовую гору.

## 6

Ради усмирения молодости говорится, что старость настаёт незаметно. Нет, к Колымееву она подступила не с бухты-барахты и даже не так, как в конце месяца прилетают квитки на оплату коммунальных услуг, ещё у почтового ящика повергая старуху в финансовый обморок. Он встретил старость задолго до её прихода, в мучительных размышлениях о том, каким он будет после. Можно сказать, он и не побелел-то сразу, разменяв чеканные медяки зрелости, а ещё несколько лет прозябал в предчувствии непоправимых изменений в своём обычном существовании. И не хрустнувшая на изломе и пахнувшая свежей типографской краской книжечка пенсионера, за справками для которой смотался даже в Воротангой, пригнула его, не казённая лиловая печать скрепила принятое за правило обращение «старик», а ощущение того, что срок сему настал. Последние годы Колымеев как будто брёл по узкому мостку без перил, который кинули через красную реку, наверное, верховные строители. Два раза он опрокидывался на захлёстанный волнами настил, но в бурлину под плахами не скатывался, вставал с раскорячки да правил дальше. Он ведал наитьем, что к часу мостик одолеет и старуха не докричится его назад. Бережёного хранит Бог – а кто же его, Создателя, накроет от бед ладошкой? С просьбами хранить его на этом пути старик в небеса не колотился, чтобы не разрушать Господнего сердца, и принял бы свой излёт без ропота и хулы. Тихо, собственным ходом и собственной верой, шёл да шёл по мосту туда, где уже виднелись чёрные камни, под один из которых он, скорее всего, и должен был ткнуться снулой рыбёшкой. Чем дальше к высокой стороне, тем уже делался мосток, и приходилось отмерять каждый шаг. Шагать оставалось немного; исся-

кали под ногами метры деревянной радуги, давно перевалившей за небытие, которое в земной форме для всех живущих и страждущих олицетворял скрипящий поселковый катафалк...

После больницы жизнь Колымеева превратилась в бесконечную планировку, в просчёты дня и сил согласно объёму работ, предписанных к исполнению старухой. И Палыч как мог крепился. Чтобы ни одного драгоценного мгновения зря, ни одного лишнего выдоха, когда нет веры, вздохнёшь ли ещё или горячая спазма навеки сдавит горло, как после войны заливали баббитом дула трофейных пистолетов. Старик опасался, как бы его прикидки не оказались неверными, мелко сеял дрожью пальцев и, закуривая, долго смотрел на продвижение красного огонька самокрутки. И только недавно он обрёл отдохновение от всяких дум, точно какая-то приходно-расходная конторка взялась чертить за него графики и таблицы протекания его будущей жизни. Тот, кто взвалил на себя этот труд, был, наверное, существом могучим, знающим все ходы-выходы космической экономики, ибо кредит жизни, в который старик залез после второго инфаркта, был для него уже неподъёмен. Но он честно, раз уж кто-то оказал ему доверие и выделил ещё света и воздуха, тянул ляжку.

Зорьки его начинались с поливки черёмухи. Вернее, они загорались от мысли, что нужно встать и полить черёмуху, так как старик, просыпаясь до света, обыкновенно валялся с открытыми глазами и «кумекал». Смысл такой утренней планёрки вогнал бы в трепет любого здорового человека, но только не ледащего старика, которому больше всего нужно было доискаться, есть ли ещё смысл, чтобы встать нынче с кровати, или уж остаться до первых признаков гниения? Тот разгон, что он взял по выписке, не пошёл на снижение, ибо стоял не вскопанным огород, завалилась стенка подвала и крыша протекала у трубы... И много разных забот приятно тяжелили душу, как в бурлящий маленькими событиями мирок, выходил Колымеев во двор. Первым делом он проверял, как заживает покалеченный бок черёмухи. Ствол почти одыбал, а тем паче гибкие черёмушки проклюнулись из земли и с жадностью молодости полезли вдоль материнского тела выше – к солнцу, оранжевым гнездом висевшему на дальних ветвях. Выглянув по весне из коричневых копытец, мягким кружевом распустились зонтики листьев, и старик стравливал в жилы корней воду с белым кольцом извести на дне ведра. Это была особая минута, которую он ждал с нетерпением, что-то тревожное и дальнейшее томило его, что он осязал душевно, не зная назвать и лишь обмирая вызвенившим в струну телом: не то, а иное манит. Священный восторг причастия к судьбе дерева брал Колымеева за плечи и тихо-тихо тряс, когда вода, всхлипывая, мало-помалу просачивалась к корневищу сквозь дырки, палкой накрученные в земле. Словно не жёсткая известняковая вода, а вышняя благодать настигала поражённое болью деревянное сердце, напоивая и его, Колымеева, красного коня жизни, и старик сидел у поленницы, счастливый и утомлённый до испарины на лбу. От осознания счастья и покоя вольно дышалось на лёгком ветру, и росы мерцали на траве, а берёзовые дрова пахли августом и кладбищем...

Заспанная, в белой ночнушке с россыпью чёрных крапинок, напоминающих мушинные точки, Августина Павловна стерегла Колымеева в окно.

– Воды набухал по-олно ведро! Мне бы на сколь делов хватило? И постирать, и голову помыть, да ишо и полы подтереть!

И грозила, отцепленной от ночнушки пинкой насверливая в заросшем волосом ухе:

– Я её срублю, твою черёмуху, чтоб ты с ума не сходил! А то встанет и первым делом в огород бежит! Как... не знаю... Может, ты ишо целуешься с ней? Дак давай, я посмотрю с ба-альшим удовольствием!

Не находя сил терпеть подковырки, Палыч с глаз долой убирался из огорода. Но и потом, занятый чем-нибудь, благо старуха за завтраком давала разнарядку на текущий день, нет-нет да подходил к черёмухе, любуясь её ладом и строем.

Однако после прошедших дождей когда было простаивать? Едва обыгала земля, вдохнув отголоски ливней, и дымным прахом задымилась под сапогами, а старуха, вынося ноч-

ное ведро, чертыхнулась на ровном месте и улетела за уборную, прямиком на пролившиеся помои, – Палыч наточил лопату и, вытаращив её перед собой, словно боевой штык, ринулся в первую самостоятельную атаку – на огородчик. Два световых дня пластался, забывая про обед, махру и те ввевшиеся в тело недуги, что подпиленным деревом уронили его на больничную койку далёкой весной. Собрал несколько вёдер пырея и банку жирных, ко гниению всё сущее подвигавших червей. Сорняки снёс на сорище, а червей, сыпанув в банку земли, чтоб она стала для них памятью былого, оставил для неведомой цели. В глубине огорода стояла проржавленная бочка; каждую осень рачительная старуха напихивала её сухой ботвой, травой и мёртвыми ветками смородины, чтобы по весне выжечь золу на подсыпку огорода. К этой-то бочке после всех баталий и подступился старик. Раскачав и до времени не снимая крышки, выкатил её на серёдку, подумал, толкнул и рассеял по огороду седое облако. Струясь в воздухе, оседало облако на блестящую в лопатных срезях землю, на обвисшие и словно облитые ядом кисти крапивы у тропинки, на мокрое бельё, вывешенное старухой на верёвках...

Августина Павловна, поролоновой губкой натирая оконные стёкла и до поры не замечая потравы белья, не одобрила:

– Копила, копила зóлу, думала огурцы, картошку ли подсыпать от вредителей хуже Упоровых, а он бухнул разом на ветер, и теперь ищи-свищи!

– Не в этом дело... – с пустыми вёдрами и лопатой ковыляя в кладовку, миролюбиво признался старик.

Отряхивая с фартука пенные шапки мыла, старуха решила узнать:

– А в чём тогда дело, дружок?

– В причастности! – Старик водворил инвентарь в кладовку и теперь довольствовался мыслью, что даже у лопаты есть своё место, а уж у него, Колымеева, должно быть наверняка.

В первое воскресенье июня загадали посад картошки. Надо было справиться эту главную работу давно, как все путные люди, но в мае промешкались, а там зарыдали крылечные желоба. К тому же опрокинувшаяся в огороде старуха лежала при смерти, ожидая, когда крошечный синяк на коленке убьёт всё её существо. Хуже не становилось, и старуха постановила идти на дальний огород. Палыч с вечера заплёл проволокой днища прохудившихся вёдер, сползал в подпол и с Божьей помощью мелкими частями стрелевал наверх ящик изросшей картошки. На этом не угомонился – разобрал колесо тачанки и, угостив подшипники горстью солидола, стал собирать наново. А пока он возился, старуха сползала до Мадеевых, на помощь им со стариком призвав Гальку, которая беспрекословно согласилась, помня о занятой у старухи сотенной.

В назначенное утро Мадеиха была на сборном пункте. Старики ещё спали, но стук в дверь напомнил о погубимости всего живого.

– Какого там ишо лешего принесло?! – запричитала Августа Павловна, ковыляя до двери.

С появлением Мадеихи старики забегали, ибо огромный синяк под глазом ранней гостью хмуρο взирал на задравшуюся ночнушку старухи и некогда голубые, а теперь белые от стирки, с раскрытой распоряхой кальсоны Палыча.

– Кто это тебя так? – выволакиваясь с бутором в прихожую, на приветствия Гальки буркнула старуха. – Проходи, чё встала на пороге?!

– Огнестрельный фонарь! – высматривая себя в зеркале, пояснила Мадеиха и воинственно выпятила нижнюю челюсть. – Натурально – осколочное ранение...

– Чего ты городишь? С Колькой, наверное, поцапались опять?

Мадеиха, не отвечая, сунулась в кухню, хозяйской дланью коснувшись чайника на печке. Сморщилась: чайник был холодным.

– Солнце к закату идёт, а вы всё с дядей Володей спите?

– Дак почто с ним? Давно поврозь спим, Галька...

– Меня ваша интимная жизнь не чихрыжит! Нужно чайник подогреть. Я у вас чаю выкушаю пять чашек.

– Чё ж, выпей! Я там блины вчера настряпала, думала, Колымеев пожуёт, а он два блина умял – и только...

– Я не спрашиваю, а ставлю в известность, что буду с вами пить чай, – предупредила Мадеиха и потрогала сливовую мякоть синяка.

Старуха вскипятила чайник, а затем стала греть блины, уронив в сковородку кусок сливочного масла. Вынимая из шкафа пакушку с чаем, не утерпела:

– Скажи честно: Колька обстоятельно звезданул?

В ожидании обещанных блинов Мадеиха припухла на жалобно скрипящей табуретке.

– Мёртвого поднимешь, Гутя! – вздохнула Галька, а затем эпическим голосом – как древнерусский сказитель – стала повествовать, помогая тяжёлой поступи своих мыслей расширенными пальцами: – Вчера стала папке ногти на ногах стричь. «Ногти, – говорит, – подстриги мне, Галя!» Самому-то нагнуться – мамон мешает... Е! А у папки ногти – как у Машки Гусевой: сначала ноготь, потом нога. Я корплю, ножницами грызу ноготь на большом пальце. Полчаса грызла! – воскликнула Мадеиха. – Отстригла уже, а он ка-ак заеб...

– Но-но! Укороти-ка язык!

– ...залепит мне в глаз! Чуть кривой не осталась, Гутя. Е! Бросила ножницы, говорю папке: «Завтра Мадеев придёт с бензопилкой, отфигачит твои ногти». Твои ногти, мол, только бензопилкой пилить – даже двухручка не возьмёт... Скипел чайник, Гутя? Мне три ложки сахара!

– Сейчас! Мы с Колымеевым по пол-ложечки кладём!

Мадеиха обмерила старуху увечным глазом.

– Я тебе не рассказывала, как мы с Мадеевым сторожили винный завод? Мы же с Мадеевым винный завод сторожили в ночь с пятого на четырнадцатое – да-а...

– Без твоих сказок тошно! – отмахнулась Августина Павловна, шевелением губ подсчитывая количество ложек, выгребаемых Мадеихой из сахарницы.

– Сторожим, значит, с Мадеевым винный завод...

После завтрака, сшибая с кустов малины росу, потащились на огород. Дымные коровы лепёхи, в которые сослепу наступала старуха, чавкали под галошами, обнаруживая направление мыслей Августины Павловны. Впереди поспешала Мадеиха, катя одноколёсную тележку. Палыч тащился по пятам, тонким прутиком рассекая спутанные травы. После похода с Чебуном на рыбалку это была его вторая длинная отлучка из ограды, и Колымеев крепился в тихой радости от вернувшегося здоровья.

С первыми лучами солнца отвалив севшие ворота, три сотки засадили до обеда. Да не то слово: пролетели, как на мотоблоке! На лопату встала Мадеиха, и старуха, думая простимулировать её труд, загодя пообещала ей чекушку, а потом едва поспевала бросать картошку в лунки, которые стремительно рассеивались по полю, как воронки при бомбовых ударах. Старик, пользуясь вешним теплом, насыпал картошку из кулей, от межи носил в ведрах и тоже умаялся, пару раз увалившись на землю.

– И куда ты, Галька, торопишься?! – завизжала старуха, когда Мадеиха сломала черенок. – У нас бы с Колымеевым сколь продюжил черен?!

– Соцсоревнования были в разгаре, – в тон Августине Павловне кричала Мадеиха, делая вид, что читает по памяти выдержку из газеты, – когда комбайнёр Карнакова Гутя задавила председателя колхоза, порушила технику, благодаря чего сорвала план по посеву зерновых к едрене-фене. Необходимо...

– Лунку не зарыла! У-у, змея! – От волнения платок свалился на глаза старухи. – Уж либо родилась такая, либо от жизни чё с тобой сделалось – не знаю...

На счастье, Мадеиха вскорости уткнулась в забор, вещавший о том, что поле закончилось и дальнейшему разору инвентаря не бывать. Старуха дала отмашку, а старик выбил о столб пустые мешки. Мадеиха, утерев рукавом спёкшиеся губы, погрузила в тележку вёдра и полетела навстречу светлому будущему. Тележка подсакивала на кочках и, воспарив, оглушительно стучалась о землю, а старуха замирала, ожидая своего или тележки неминуемого краха.

– Полегше, сатана, гони! Последнюю технику угробишь!

Отзывалась Мадеиха, мелькая под горкой, среди зарослей репейника, через который она решила скостить дорогу.

– Я Шумахер! Я щас готовлюсь к международным соревнованиям по гонкам на тележках в Гватемале... Садись, Гутя, я покажу тебе свои наработки. Финт колесом вправо, ручку газа до отказа...

– Ну тебя к чёрту! – крестилась старуха, подпрыгивая в безразмерных галошах. – Уро-нишь, дурак, а спросу нет...

Наконец все приусадебные работы были завершены. Заложили парники перегноем (с подворья выделил Чебун), из-под горы натаскали свежей земли, натянули плёнку, а вскоре высадили переросшую оконные задергушки рассаду. Среди пышных и сочных стебельков старуха выбраковала огуречный побег на кривой ножке, но Палыч пожалел его, определил в уголке парника и окрестил сыном полка. Теперь, полив черёмуху, он шёл к приёмышу с остатками воды в ведёрке. Сытые и гладкие старухины огурцы марки «Настоящий полковник» пёрли под самую нагретую плёнку, а тщедушный новобранец клонил к земле квёлую головку, но спустя неделю засветился в парнике маленьким зелёным солнышком.

К радости Колымеева, добавилось охотное фыркание старухи, которая тем же часом поплелась в огород, чтобы зафиксировать неожиданное чудо и в случае чего дать делу укорот.

– Вишь ты, и вправду оклемался на дармовщину, – добрым словом среагировала старуха. – Пручий, как танк! То и гляди – путным огурцам энергию затемнит...

Палыч подсчитал:

– Солнца, Гутя, на всех хватит, оно ж большое!

Обнадёженный ещё одной, в ногу с ним установленной жизнью, с большим рвением взялся Палыч за домашние хлопоты. Уголь, что старуха по весне натаскала из-под горы, огородил заборчиком; подстриг и подвязал кусты малины и смородинника, мёртвые ветки проком для будущей золы скидал в бочку. Отдельно от общей плантации, у цыплятника, в прежние годы произрастал горох; нынче старуха провела ядерное разоружение и кинула грядку под пары, но старик с боем отстоял этот клочок земли и в виде мелкособственнического элемента посадил на нём табак. Главное было сотворено, однако Колымеев не разгулялся и перекопал четверть огорода, ибо пьяная Мадеиха после картофельного сабантуя была тропинки ходьбой вприсядку, так что грядки напомнили протрезвевшей наутро старухе могильные курганы.

В один из дней на площади остановилась животноводческая фура, сманила шумные толпы. Тоже и Августина Павловна три часа кряду выбирала поросят, бдительно вертела-обнюхивала каждого и беспричинно пыталась продавца о цене.

– Сколь, говоришь, хапанёшь за такого доходягу?

Чернокудрый продавец устал от старухи:

– За двухмесячного?

– А то за какого ишо?! Не за столетнего же!

– Двухмесячные – вот они, в этом загоне, хрюкают себе, – они по две с половиной...

– Две тыщи?

– Две с половиной! – не путался в старухины сети карась капитализма. – Две голубеньких и одна такая розовая...

– Две голубеньких! – ворчала Августина Павловна, нащупывая в кармане приготовленные бумажки.

– Хошь бы скостил нам со стариком на пиво!

– Не могу. Не мой товар...

– А-а, частник – не участник! – оставляя попытки найти лучший для себя исход, рассудила старуха. – Это нам досталось лиха, а вы-то наших слёз не видали...

Со стыда сгорающий старик укатил поросят на тележке.

– Теперь, Колымеев, закрутимся по распорядку! Сильно-то не разлежимся на белых простынях... – Сзади попевала Августина Павловна, держа в руках картонную коробку, в которой пищали и скреблись цыплята, прицепом купленные у дагестанца.

Поросят водворили в стайку, над которой корпел старик, латая двери и полы подручным материалом, а старуха самолично навесила на дверь замок. Шебутные цыплята куковали в тёмном затхлом курятнике и однажды, устроив подкоп под зверосеткой, бежали в соседнюю ограду, намереваясь получить у пьяной Мадеихи политическое гражданство, но тем же вечером были схвачены длиннорукой старухой и с позором возвращены на родину.

– Нормально, Володя? – Августина Павловна подразумевала нагрузку, возложенную на старика с увеличением численности их подсобного хозяйства. – Не давит ничё?

Укладывались ко сну поздно, когда в окна слепили яркие звёзды, замороженные светом красного ночника.

– Потянем! – наблюдая родство звёзд и светильника, улыбался старик. – Тащимся поменьку!

– Дай бы бог, Колымеев! – сквозь сон вздыхала старуха.

## 7

Тёплым и солнечным выдался месяц-запев, жёлтым пауком опутал посёлок в липкую паутину, и старику Колымееву свято верилось, что против прежней нынешняя песня выйдет чище и звонче. А и с чего бы ей сплосать? Как на опаре, лезла на грядках разная зелень, такая густая и сочная, какой Палыч отродясь не видывал. С хрустом наминая молодые салаты и пошамкивая от удовольствия, не подозревал старик о секретных приворотях Августины Павловны, а иначе ложка в рот не полезла бы. Но он провозжал жизнь в простаках, не обижаясь на непунктуальные действия старухиной ложки, устремлённой к единоличному распределению салата.

– Ешь! Ешь, Колымеев! – подбадривала Августина Павловна, унося околыш смачной редисины. – У меня её ишо – не переесть. Поспевай резать да направлять...

– Муху, Гутя, зачерпнула!

– М-м?

– Проехали...

Небывалый рост зелени старик первое время суеверно приписывал самому ходу жизни. Но в глубине двора, за нескошенной крапивой, куда старуха рано утром сносила ночное ведро, он обнаружил зловонные баки, сокрытые от посторонних очей дырявыми тазами. Чёрная магия была разоблачена, но от причастности к тайне не легчало.

– Куда, Колымеев, огурцы девать будем нонче? – загодя переживала старуха, придя из огорода и устраиваясь в кресле для сакральных размышлений. – Посмотрела щас, дак зародышей кишмя! У меня столь банок в кладовке нет...

– Ты сглазий ещё!

После истории с баками присмотр за огородом старик взял под крыло.

Тем более требовался глаз да глаз, что Августина Павловна держала в чёрном теле «сына полка», уже принаряженного в жёлтые венчики цвета. Пройдётся лейкой по «настоящим пол-

ковникам», а прикормыша обнесёт. Что отщепенцем жил едва-едва оклемавшийся всход, остро переживал старик, понимая праздник лета общинным.

– Счас поахаем, а зимой палец сосать будем! Давай заполошничай по посёлку! Сане своей скажи, она найдёт – куда-а...

– Нет, я вообще говорю, Володя.

– Ну дак вот же, – пользуясь расположением старухи к миру и добру, поучал Палыч, и Августине Павловне касательно перемен в Колымееве приходилось разевать рот. – Заморозок, Гутя, пропасть какая-нибудь...

– Скажите пожалуйста! – удивлялась старуха. – Твой-то, главное дело, голодранец... Ну, молчу!

Однако долго молчать старуха не умела, тем более что ругаться и воевать в скором времени представился случай.

Как-то старуха нацелилась в аптеку, что в другом конце посёлка. У ворот, однако, вышла заминка, тем больше огорчившая Августину Павловну, что походы в муниципальную аптеку не приносили покоя. Выписанные по справке лекарства разбирались теми старухами, которые жили ближе к аптеке и уже с утра дежурили у дверей, а пенсионеры с дальнего околотка, к обеду кое-как покорявшие неблизкий путь, дожинали остатки. Завозили из города нечасто, в основном копеечные препараты, специальных порошков в обрез. Уже не одна неоприходованная выписка на отпуск лекарств зябла под клеёнкой, приходилось различивать затайки на чёрный день да бить ноги в коммерческие ларьки. Передовые старухи давно смикитили и, написав отказные на получение льгот ещё в конце того года, уже в этом отмеряли привилегию чистыми денежками. Августина Павловна за хлопотами о старике проморгала удачу и теперь ждала новогодия, чтобы уже пользоваться льготами фактически, а не на бумажке. Всякий раз, подсчитывая, сколько за эти неотоваренные месяцы кануло дармовых казённых рублишек и сколько ещё обратилось в прах с махонькой пенсии, старуха вздыхала, но поделать ничего не могла – поцеловав пустые полки, ползла на поклон к торгашам, от которых прилетала с тяжёлой мыслью: стареть нынче не в пример ранешнему потратно.

Эти-то большие думки и проели душу, будто моль колымеевскую ушанку, а тут ещё, пихнув ворота, Августина Павловна неожиданно встретила сопротивление. Старуха для порядка поддала ногой, но кто-то словно навалился с той стороны плечом.

– Опять поруха в моёй жизни! – с беспокойством об удивительном шлагбауме, который судьба выставила на её жизненном пути, громко выругалась Августина Павловна.

На её крики завозились с улицы, и ворота отворились. Оказывается, это поставленный на железные колёса сварочный аппарат мешал её продвижению. Тут же, рядом с забором, валялись штыковые лопаты, гранёные ломы и другой инвентарь. На брёвнах возле Хорунжиев сидели в робах оранжевого цвета белозубые узбеки...

Вернулась старуха из аптеки, когда синенький тракторишко с чёрной заводской краской на ковше неистово, как крот, взрывал длинную глубокую траншею от водонапорного колодца и уже отрезал подступ к ограде. Небольшой бойкий кран вскрывал бетонные плиты теплотрассы, а пыльные узбеки со сваленными на сторону мокрыми волосами, как мураши, копошились в траншее, нанизывая на железные петли плит толстые крючки тросов. Потоптавшись у рва и раз и два, тоже без толку, спытав проскользнуть в ограду по кромке рядом с забором, под нависшими над головой и чуть раскачивающимися плитами, грозившими пришлёрпнуть её, как мышь в плашке, Августина Павловна убрела через дорогу и швырнула сумку на землю. Добрых полчаса, пока рабочие перекидывали мосток из досок, куковала на свежей траве, отёртая от остального мира. Однажды в раскрытых воротах объявился Колымеев, со знанием дела уставился на бурные раскопки, но сквозь облако пыли и бензинного выхлопа засёк на соседнем континенте кислую старухину мину и поспешно исчез, к вящему неудовольствию Августины Павловны. Наконец мосток соорзили, и старуха, закрыв от опасности мероприятия глаза,

миновала проклятую рытвину и с раздолбанной стуками и машинным рёвом башкой ушла в дом.

В следующие дни меняли трубы. На эти нужды из районной казны отслонявили часть денег, а часть потянули с жителей улиц, где гремели работы. Кто-то пускался в долги, кланчил ссуду, бил быков на мясо... Благо Колымеевы сварганили своё отопление, а холодная вода зимой беспокоила постольку-поскольку, на мытьё-готовку хватило бы и фляги, привезти которую с колонки старик бы ещё осилил, но скопить несколько бочек для полива летом было так тяжело, что от этой идеи отступились сразу. И коль скоро прошелестела весть о паевых началах, старуха погневалась-поплевалась, да оплатить новые подводы для воды сочла возможным. Сама оставаясь внакладе, она поддерживала проводимую комхозом политику, спиленным деревом рухнувшую на хребет ненавистных соседей, тогда как их с Колымеевым всего-то стегнуло административной веточкой.

– Закрутитесь теперь, уж верьте слову! – не по злomu умыслу, а по долгу памяти ликовала старуха. Старик либерально припухал. – Хотя им чё? – с другого боку подъезжала Августина Павловна. – У них бойлер в подполье стоит. Думают, я не знаю, а я всё знаю! Прощлую зиму штрафить пришли, а он, мула несчастный, как нюхом чуял... Ну, спря-атал бойлер, а на следующий день опять подключил. За зиму несколько раз котельная вставала, все люди печки топили, а у них и дымка не было. Тепло без того – дак чё?

Новость о необходимости уплаты возбуждённая старуха приняла умом, но не сердцем, и чем глубже весть растворялась в её мозгу, тем шумнее становилось в голове Колымеевой от успехов. Что было делать, с кем поделиться радостью? Саня укатила к внучке, Мадехи скрывалась при встрече в переулке, а с Чебуновым путного разговора не выходило. Справляя дела по дому, старуха мало-помалу забывалась, но нет-нет да одолевала старика:

– Однако правильно Плишкин сделал! Да, Володя? Я дак путаюсь, примерно. Был бы рядом братишка Фёдор, он бы мне дал ответ. Он ра-зумно-мы-ы-слящий, жизнь повидал поболе...

Палыч ногою играл с Маруськой и был чрезвычайно увлечён этим.

– Это конечно... – глубокомысленно отвечал старик, поспешно заправляя на носке распушённую Маруськиным когтём петлю. – Фёдор – да. Чё мы? Деревенские обалдуи! А Плишкин по разуму поступил...

Старуха фыркала, снова приликая к окну:

– Конечно, прав! Тут и дураку понятно. Па-аддерживаю! С ними, с кулаками, так и надо, пусть плотят... Вон она, белобрысая, ползёт с помойным ведром, не знает, наверно, что платить велено. Или пойти, сказать ей? Пусть норку не задирает! А-а, провались она со своими унтами!

Ремонтные работы с шиком-блеском затеяли враз на нескольких улицах, раздулись в посёлке бабьи вздохи, стук молотков и другой подсобный шум. В квартире Колымеевых засверкали сполохи электросварки, вырезали и выбросили на улицу сгнившие трубы и, начихав едким дымом, на этом ограничились. Разбомбив трассы и квартиры, власть заморозила строительство: зашаталась жителя, не потянули тягловой суммы. Однако же на улицу Красного Тррора пришёл обещанный праздник. Сходили кто порасторопней, вывели – так... Старуха краем уха слышала, что Упорова ведёт агитационную политику в соседних домах, побуждая людей к раскошеливанию, и что будто бы Акиньшины, Мадеевы, само собой, Упоровы уже внесли складчину. Слухи Августина Павловна трактовала как очередной плевок в свою сторону (как будто за Колымеевыми дело встало!) и не торопилась кинуть на бочку давно отложенные бумажки, ожидая, до каких пределов умственного истязания дойдёт комхозовский работник. Между тем и у забора Хорунжия Тамира с грохотом ссыпали блеснувшие на солнце трубы. А там и старик Чебун, потея лысиной, раззявил перед грузовиком ворота...

У дома Колымеевых сидели скучные рабочие, потом и тех перебросили на другой объект, угнали технику, а инструмент утартали на тележке. Принёсшая молоко цыганка обсказала последние известия:

– С Бажигеевым, директором рудника, началось у него, у Плишкина-то. Чуть не в районных судах схлестнулись!

– И с чего у них, слушай, хай пошёл?

– Бажигеев оттягивает полномочия на обеспечение населения коммунальными услугами, – длинно и учёно отвечала Ларка. – И, разумеется, на сбор налогов.

– Вор у вора котомку украл... – оформила старуха.

Рудниковское предприятие давно уже было не то, в котором наживал чахотку Колымеев и откуда ушёл на пенсию. Ладный, по современным меркам, скроенный директор развернулся вширь и зорко глядел вдаль, взяв на себя обязанности райпо и откупив «Маслопром», и вот замахнулся на управление комхозом. Директор комхоза, в свою очередь, накатал на Бажигеева кляuzu, но удача в народе была не на его стороне. Прошлый год середь зимы замерли котельные, вскурились над посёлком дымы печей, а из комхоза сыпались и сыпались в почтовые ящики квитки об уплате. Опять же, Плишкин сплёл хомут – двести рублей в квартал за пользование колонками, до этого бесплатными. Вскоре, на всё тех же паевых началах, Бажигеев подмогнул комхозу, совсем цену за колонки не упразднил, но крепко сбавил – до шестидесяти трёх рэ...

Известия об этом, в метаниях тонких смуглых рук живописуемые цыганкой, раскрыли старухе глаза.

– Ну, будет дело, попомни моё слово! – Августина Павловна, и без того не сильно-то стремившаяся к выдаче сбережений, с уходом Ларки наново обмозговала ситуацию и решила дождаться окончания катавасии.

Раз или два приходил Чебун, с матерком сообщая старухе о непредвиденных тратах, ударивших по его карману.

– В субботу буду боровка колоть, сдам в рудниковскую столовку, рассчитаюсь с дармоедами!

– Дак ты же говорил: некастрированный боровок-то?

– Интеллигенты всё сожрут!

Рассказы Чебуна укрепили старуху в избранном курсе. Кроме того, оказалось, что ни Акиньшины, ни Мадеевы платы не вносили, а новость об этом, как коровью струю по ветру, развеяла Упорова.

В один из вечеров в дверь Колымеевых постучали. Одетый в тёмную синтетическую рубаху и чистые домашние штаны, Алдар тут же заявил, стоя за спиной у стариков и отражаясь в выпуклом стекле работающего телевизора:

– Тётя Гутя! Уговор: не ругаться! Прошное, как говорится...

Старуха, как того и ждала, щёлкнула кнопкой телевизора, и блестящий квадрат вместе с отражённым в нём бурятом измельчал в точку и пропал с экрана.

– Ну проходи... – И повела гостя в кухню, где, немея сердцем, услышала из уст соседа свою судьбу, на скрижалях истории написанную расторопным бухгалтером.

Речь шла всё о той же теплотрассе. Правда, дело повернулось удивительным образом.

– Тётя Гутя! – горячился Алдар. – На четырёхквартирный дом, то есть на четыре семьи, правление комхоза возложило – возложило! – обязанность выплатить... сорок тысяч.

– Сколь?!

– По десять тысяч на семью. Теперь-то понятно?!

– Понятно, не кричи! Ты вот что мне, дружок, скажи: мы все должны кинуть по десятке – или как? Я не пойму.

Убеждая в своём неведении, старуха искусно врала. Она давно сообразила, куда клонит Алдар, если взять в усмотрение, что у Колымеевых своё – печное – отопление. Понимал и старик, не в силах смотреть в глаза соседа.

– А с чего, слушай, цифра подпрыгнула? – поправив очки, интересовалась Августина Павловна. – Помнится, по шесть тыщ запрашивал комхоз?

Алдар подвинулся покрасневшимся лицом к лицу старухи, переходя на шёпот:

– Так вот в чём и дело, тетя Гутя! У них... а-а! Сожрали, можно сказать... Придёт Бажигеев – ему чё? Своей выгоды искать надо, даром, думаете, он встрял?

– Нет, а почему мы вообще-то должны платить? – по примеру соседа пожимала плечами старуха, до поры отруливая в сторону в этом щекотливом вопросе. – Которые трудящие и не ханыги, которые вносят каждый месяц квартплату? Вот вы, например. Есть у вас задолженность по воде, по отоплению?

– Откуда, тётя Гуть?! Тамара каждый месяц платит. Да же, дядя Володя?

– Но! – поспешно согласился старик. – Всегда платите. Хозяйство, то-другое... Выйдешь когда, а у вас лампочка над крыльцом горит. Утро, а она всё горит...

– Это Ирка, наверное, забывает выключить, – вдохновился Алдар. – Я ей сделаю, дядя Володя, она у меня помнить будет!

Старик пожалел, что упомянул про лампочку, которая, верно, день и ночь горела над крыльцом Упоровых, не прогрызая в их бюджете дыры, ибо шнур воровским способом тянулся не в квартиру, а к общему счётчику энергораспределения.

– Я тоже об этом говорю! Всегда платят, – кивала старуха. – Мы также с Колымеевым каждый месяц вносим, дак почему же нам платить? Будь ты хоть Плишкин... да хоть кто! Нанялся – продался! Или это не их обязанность – трубы новые класть?

– Так вот! Я, тётя Гуть, о том же: почему мы должны? Придёт этот Бажигеев... Новая метла всегда шибко метёт! Но, с другой стороны, если без отопления – тоже как-то...

– Не говори: без отопления – как? Замёрзнешь! И Плишкин не отопреет. Ладно, у кого бойлеры есть в подполье, Алдарушка! Да у нас ни у кого здесь нету их...

После этих слов старик не знал куда бежать от стыда.

– Может, чё перепутали? – коль скоро молчание затянулось, робко предложил Палыч. – Сидят в конторе, дак голова пухнет...

– Перепутали, ага! – переводя тяжёлый взгляд на Колымеева, осмела старуха. – Не понял: десять тыщ клади на бочку! Так, сосед?

Получив твёрдый ответ, старуха круто обратила разговор к главному предмету, то есть к деньгам, платить которые в означенном размере она при всяком раскладе не собиралась.

– Вот скажи. У нас своё отопление. Так? Да нам теперь тоже с вами одинаково раскошелиться? Нам-то эта теплотрасса...

– Я, что ли, это придумал? Ба-жи-ге-ев сказал...

– Разве Плишкин говорил, что вот вы, Колымеевы, платите наравне с Упоровыми и с другими? Это у вас новость, а мы со стариком не слышали даже.

– Они ж не будут проводить в полцены! Вы, когда собственное отопление проводили, должны были за свой счёт отрезаться от Шаповаловых и Акиньшиных и по новой состыковать трубы, в других уже местах. А вы перекрыли свою квартиру – и всё, другие трубы пустили у себя... Согласитесь, тётя Гуть? Так теперь нам самим надо резать да по новым гнёздам пускать... это ж сколько мороки! Они ж всё равно будут ваши старые трубы вытаскивать...

– Ну не столь много делов! Долго ли перекинуть в другую квартиру?

– Морочно вообще-то, Гутья, – прикинул мужским взглядом старик. – Там и у Акиньшиных и вот у них, Упоровых, перестраивать маленько надо... Так-то запурхаешься...

Старуха замолчала.

– Проводите! – крякнула спустя миг, за который нажалила старика глазами и этим высказала ему своё трудовое презрение и гордый смех. – Либо у вас капиталов нет?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.